

АНДРЕЙ КУРКОВ

ГЕОГРАФИЯ ОДИНОЧНОГО ВЫСТРЕЛА



Андрей Курков

География одиночного выстрела

«Фолио»

2017

УДК 821.161.1(477)
ББК 84(4Укр=Рос)

Курков А. Ю.

География одиночного выстрела / А. Ю. Курков — «Фолио»,
2017

ISBN 978-966-03-7775-2

Трилогия Андрея Куркова «География одиночного выстрела» состоит из трех романов: «Сказание об истинно народном контролере», «Судьба попугая» и «Пуля нашла героя», написанных в жанре фантастического реализма. В некой советской виртуальной реальности живут, работают, героически сражаются, преодолевают тяготы военного времени исторические и антиисторические герои: народный контролер Добрынин, ангел, урку-емец Ваплахов, попугай-декламатор Кузьма... А по фантастической Советской стране летает пуля и никак не может найти героя или праведника, смерть которого прекратит все войны на земле... В трилогии, наполненной приключениями, черным и светлым юмором, фантастикой и загадками, читателю многое покажется до боли и смеха знакомым. По большому счету, «География одиночного выстрела» – это своеобразный учебник советской истории, который гораздо интереснее традиционных пособий.

УДК 821.161.1(477)

ББК 84(4Укр=Рос)

ISBN 978-966-03-7775-2

© Курков А. Ю., 2017

© Фолио, 2017

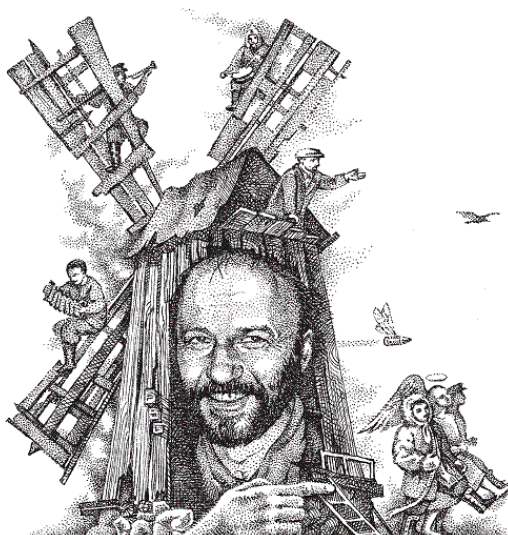
Содержание

Сказание об истинно народном контролере	5
Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	14
Глава 5	16
Глава 6	19
Глава 7	24
Глава 8	34
Глава 9	45
Глава 10	48
Глава 11	51
Глава 12	63
Глава 13	67
Глава 14	83
Глава 15	86
Глава 16	92
Глава 17	96
Глава 18	105
Глава 19	108
Глава 20	136
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Андрей Юрьевич Курков

География одиночного выстрела

Сказание об истинно народном контролере



Глава 1

Перебрехивались через дворы сельские псы, гремя цепями и возвещая напелзающий сверху вечер. Кто-то тупым топором колот дрова, готовясь к грядущей зиме. С дальнего края села доносилась пьяная мужская ругань. Голос был до того осипший, что от него самого на расстоянии шел сивушный запах. Под потолками изб вспыхивали лампочки Ильича, но светили они не ровно, а как-то волнообразно, подчиняясь своенравному электрическому потоку, который по проводам, жужжащим от напряжения, забирался в каждую колхозную семью, как невидимый тайный враг.

Горела такая лампочка и на центральной площади села, как раз между клубом и правлением колхоза. Свет от нее колыбался то в одну сторону, то в другую, раскачиваемый несильным в ту пору ветерком. И прямо в этот колышущийся свет вывалила из клуба по-деловому шумливая толпа колхозников. Прошла сквозь него и разбрелась по домам, неся в каждый дом новые мысли и новый смысл продолжающейся по-старому жизни.

Устало ступал к своему дому и Павел Добрынин – человек своенравный, как электричество, но на удивление честный и из-за этого в колхозной округе нелюбимый. Ступал и дивился, как тяжело давался ему этим вечером каждый шаг. Дивился, как трудно было дышать и как враз потускневшие, словно пристыженные, звезды едва-едва мерцали на безоблачном небе. Так и шел он, медленно, растягивая во времени свой путь, слушая неорганизованный собачий хор и выделяя в нем лай своего пса Дмитрия, а по-простому – Митьки. Пес Митька в чем-то был похож на хозяина, должно быть в том, что ни одна сельская собака его не жаловала, хоть и сторожем, и кобелем он был отменным.

Скрипнула калитка, и еще громче и радостнее залаял пес, учуяв хозяина.

Зайдя во двор, Павел не заспешил в дом, а подошел к окну, да так и замер, глядя, как его любимая жена Маняша укачивает на руках трехмесячного Петьку. Постояв так некоторое время, Павел перевел свой взгляд на небо и, дождавшись падения какой-то, по-видимому не

очень важной и нужной, звезды, загадал сокровенное желание и только тогда открыл дверь и вошел в дом.

Жена бессловесно обрадовалась, увидев мужа. Стояла, смотрела, как он стаскивает с ног сапоги. Потом, спохватившись, метнулась к печке и сунула поближе к жару чугунок с мужниным ужином.

– Ну, о чем на собрании говорили? – нарушила уютную домашнюю тишину Маняша.

Павел тяжело вздохнул. Помолчал, потом все-таки произнес, старательно подбирая слова:

– Трудную честь мне оказали...

– Как это? – напуганная непонятной фразой мужа, спросила жена. Павел перевел дух, сгорбился, присел за стол.

– Контролером меня выбрали.

– Это в колхозе, что ли?

– Нет. – Павел мотнул головой и снова вздохнул. – В целой стране.

– Как же это?

– Да вот, возьми, прочитай! – Павел протянул ей бумажку со значительной лиловой печатью правления колхоза.

– Прочитай сам, – попросила Маняша. – Я ж, знаешь, не больно грамотная...

– «Сим удостоверяется, что Павел Александрович Добрынин на общем колхозном собрании выбран бессрочным трудовым контролером всего в Советской стране. Ему присвоена должность «народный контролер», и подчиняется он непосредственно высшему руководству страны. Руководители учреждений и заводов, подвергаемых контролю, обязаны кормить народного контролера и оплачивать его труд согласно его потребностям и затраченному на контроль времени».

– Как же это? – спросила Маняша, а в глазах уже заблестели слезы. – Как же это? Ведь значит усылают тебя! Господи! Это ж они нарочно усылают тебя!

– Да нет, – протянул неуверенно Павел. – Это честь... Выбрали ведь. Потом сменят, тогда и вернусь... А ты детишек береги.

Услышав про детишек, Маняша разрыдалась, и, проснувшись из-за этого, закричал-заплакал вместе с ней и трехмесячный Петька.

Павел сам почувствовал, что вот-вот нальются и его глаза слезами, и сжал сильнее кулаки, чтобы хотя бы так сдержаться.

Утром он уходил. Из района прислали подводу. На облучке сидел старик-коротышка метра в полтора ростом. Курил самокрутку и поглядывал на порог дома, где Павел прощался со своей женой.

Прощание было тягостным. Маняша всю ночь не спала – собирала мужу котомку, и собрала-таки.

– Ну я пойду, – наконец решительно проговорил Павел, желая кончить разом все эти неизбежные страдания.

– Постой! – жена вдруг всплеснула руками и побежала за дом, к дровяному сараю.

«Чего она еще там?» – подумал Павел, но уже через полминуты увидел Маняшу снова. В глазах у нее по-прежнему были слезы, а в руках – топор.

– Вот, возьми в дорогу! – попросила она.

– Да ты чего? – удивился Павел. – Топор? На что он мне там?

– Возьми-возьми! – настаивала жена. – Как же ты там без ничего будешь, без инструмента... А если бандиты?

– Ладно. – Павел взял топор, забросил котомку на плечо и пошел к подводе.

Маняша шла следом, но шаг ее был сбивчив, дороги пред собой она не видела, потому как лицо закрывала руками и плакала. Оттого остановилась она где-то между домом и калиткой и застыла так.

– Ну, пошла! – рявкнул старичок-коротышка на свою лошадь, и застучали деревянные колеса по заезженной земляной дороге.

Глава 2

Солнце, обежав полукруг по небесному циферблату, окунуло лучи свои за край горизонта, туда, где начиналась бездна. А на земле, укутанной в вечернюю темень, всякая жизнь зевала, готовилась ко сну, возрождающему силы; и даже растения закрывали свои цветы, чтобы не кружились, жужжа, вокруг них насекомые, не испытывающие усталости и необходимости сна из-за скоротечности их жизни. Все останавливалось, все замирало, кроме движения воздуха, подталкиваемого дыханием людей и зверей.

И вот в этой тишине на землю опустился ангел. Опустился, огляделся по сторонам, и, убедившись в спокойствии окружающего мира, прилег на траву. Враз дала о себе знать усталость – ведь путь вниз не был легок и быстр. И, сомкнув глаза, ангел увидел сон, который и сном-то почти не был, потому что все, увиденное им, было воспоминанием об этом трудном дне, когда наконец решился он покинуть братьев и сестер своих, одетых в такие же белые одежды, как и он, покинуть Рай, чтобы опуститься на эту загадочную землю, огромную и таинственную, о которой никто из его теперь уже бывших собратьев ничего не знал, кроме того, что жители ее после смерти в Рай не попадают. Может быть, с этого странного знания и началась его мечта о путешествии сюда, но не обычное любопытство заставило его пуститься в столь трудный путь – не верил он, что в такой большой стране нет праведников, но доказать это не мог, ведь если бы были праведники, то и ворота Рая всегда были бы открыты для них. И вот, не веря в то, что для других жителей Рая казалось бесспорным, решил он опуститься сюда, найти настоящего праведника и, пройдя с ним его мирской путь до конца, ввести его в белые, украшенные жемчугами и алмазами ворота, ввести и получить от братьев и сестер своих прощение за то, что покинул он райскую землю самовольно и тайком.

А звезды разгорались ярче, пользуясь отсутствием дневного светила, которое тоже на месте не стояло и прошло уже до середины полукруг нижнего, невидимого отсюда, небесного циферблата.

И сон, который и сном-то не был, окончился, окунув ангела еще глубже внутрь себя, позволив ему слушать удары собственного сердца и плеск крови своей, текущей неспешно по его чистым венам.

И вдруг жаркое дыхание чужое потревожило его слух, и шепот, вкравшийся в уши, разбудил ангела.

– Товарищ... – шептал кто-то. – Товарищ, не спи!

Ангел открыл глаза и, приподнявшись, уселся на траве. Посмотрел на говорившего. Перед ним, опустившись на корточки, сидел кудрявый парень.

– Товарищ, – снова прошептал он. – Давай одеждой поменяемся! Я тебе еще буханку хлеба вдобавок дам. А? Идет?

Подивился ангел такому предложению. Посмотрел на одежду парня: зеленые штаны и такая же рубаха, на ногах – сапоги.

– Но у меня только такая одежда! – сказал ангел, приподняв белую тонкую ткань. – Тебе в ней не будет тепло.

– Ничего, – парень махнул рукой. – Ну что, сменяемся? Ангел пожал плечами. Потом кивнул. Парень стянул рубаху через голову, потом стащил сапоги и штаны.

Ангел снял свою одежду.

– А как ее одевать? – непонимающе спросил парень, держа в руках белое одеяние.

– Там вырез для головы есть, – пояснил ангел.

Найдя вырез, парень просунул в него голову и расправил на себе белый ангельский наряд. Потом быстро обул сапоги.

– А обувь? – спросил ангел.

– Не-е, – протянул кудрявый парень. – Мы так не договаривались. Одежду на одежду сменяли, а сапоги – это не одежда, это сапоги...

– Ну ладно, – согласился ангел. – А скажи, такую одежду все здесь носят?

– Почти все, – парень кивнул. – Только я с гимнастерки петлицы оторвал...

– А что это – петлицы? – поинтересовался ангел.

– А-а, да ты не знаешь! Тогда лучше и не знать. Вот тебе хлеб, и счастливо оставаться!

Он положил на землю перед ангелом небольшую круглую буханочку, поднялся на ноги и пошел прочь.

Ангел смотрел ему вслед долго, потому как белое пятно его одежд светилось, удаляясь, среди деревьев и кустарников. Потом, когда парень совсем исчез в поглотившей его ночи, ангел взял в руки хлеб, преломил его и один ломоть поднес ко рту. Откусил, пожевал, и стало на душе тревожно. Хлеб был невкусным – совсем нельзя было сравнить его вкус с белой, выпекаемой в Раю паляницей. Во рту он разделился на какие-то комочки, разжевать которые было невозможно. И, в конце концов сплюнув неразжеванный хлеб на землю, пожалел ангел людей, этот хлеб едящих. Пожалел, вздохнул тяжело, как никогда прежде не вздыхал, и улегся лицом к небу. Улегся и стал ждать утра, чтобы при солнечном свете рассмотреть эту таинственную землю.

Вскорости утро наступило, разбудив птиц и все живое. Ангел встал и осмотрелся: видно стало ему, что оказался он в небольшом лесочке, где деревья росли не густо, а чередовались с невысоким кустарником. Вблизи увидел три узенькие тропинки, бегущие в разные стороны. Понял, что где-то рядом живут люди, по этим тропинкам ходящие. И пошел ангел по одной из них, чтобы к людям выйти.

А птицы пели так чудно, словно шел он по райскому саду. Впереди вдруг показались всадники. Было их не больше десятка: молодые, красивые, одетые в такую же зеленую одежду, какую сменял он этой ночью на свое белое одеяние.

Сошел ангел с тропинки, чтобы пропустить двигавшихся ему навстречу всадников. Но они, оказавшись рядом, окружили пешего странника и смотрели на него враждебно.

– Кто такой? – рявкнул один из них, покручивая правой рукой свой длинный ус.

– Ангел... – оторопело ответил пеший странник.

– А? Слыхали? – расхохотался вдруг усатый. Потом резко сменил выражение лица на злое. – А ну руки вверх, сволочь! Я тебя щас точно на небо отправлю, тогда и будешь ангелом!

И всадник вытащил из поясной кобуры тяжелый маузер, нацелился, а потом отклонился от своей руки в сторону, ехидно глядя на ангела, словно проверяя: испугался тот или нет.

– Почему вы убить меня хотите? – спросил озадаченный ангел.

– А почему на тебе военная форма с оторванными петлицами? Сам дезертир или убил кого из наших и снял потом? А? Отвечай живо!

– Одеждой ночью поменялся, – отвечал пеший странник. – Парень такой кучерявый, просил очень... Он мне еще хлеба буханку дал.

– Кучерявый?! – усатый всадник вдруг стал мрачным, как камень. – А ну дай-ка того хлеба!

Ангел протянул ломоть всаднику. Тот откусил, пожевал аппетитно и обвел всех прищуренным взглядом.

– Сергуньков? – спросил один веснушчатый паренек, что сидел на совершенно черной лошади.

– Да... – выдохнул усатый. – Эта падла! Теперь его хрен найдешь! Не-е, приятель, – повернулся всадник к ангелу. – Хватит болтать! Давай, с жизнью прощайся! Ты, видать, и сам дезертир, и дезертира спас!

И усатый всадник снова нацелил свой маузер на пешего странника.

– Но вы не можете меня убить, – проговорил ангел. – Меня вообще нельзя убить...

– Всех можно убить, – холодно, сквозь зубы проговорил усатый.

И спустил курок. Грянул выстрел, но ангел, выставив вперед ладонь, остановил пулю, и застыла она в воздухе прямо перед белой ладонью, а всадники, раскрыв рты, смотрели на нее. И ангел смотрел на нее, и взгляд его становился все холоднее и холоднее.

– Если уж ты вырвалась в мир, – заговорил он, глядя на пулю, – то не будет от тебя спасенья ни одному человеку, пожелавшему зла другому, и если все на этой земле злом объединены, то и погибнут все, а если не все – то останутся в живых только добра друг другу желающие. А если тебе самой надоест убивать, то убей праведника, и станет он последним, а ты останешься в нем.

И, произнеся это, опустил ангел руку, и пуля, бжикнув, понеслась куда-то не высоко и не низко над землей, пробивая и листья, и стволы деревьев.

Пораженные всадники стояли неподвижно, и даже лошади их, казалось, затаили дыхание.

Ангел развернулся и пошел, понуря голову, по тропинке в том же направлении, что и до встречи с этими людьми, пошел вслед за пулей.

Горечь испытывал он от происшедшего, и уже сожалел о том, что своею силою отправил нацеленную на него пулю творить суд. Но остановить ее он уже не мог, как не смог бы слово в слово повторить то, что когда-либо говорил, или второй раз прожить то, что однажды уже было прожито.



Глава 3

Когда телега выехала из села и по обе стороны дороги улеглись колхозные поля, возчик обернулся к Павлу и, придиричиво буравя его взглядом, спросил:

– Нешто ты и есть тот самый, что самым справедливым станет?

Удивленный вопросом, Павел пожал плечами.

– Не хошь – не говори, – сказал через минуту, так и не дождавшись ответа, старик-возчик и снова повернулся лицом к дороге. – Если станешь – все одно узнаю. О справедливых слава враз по всей земле идет. Хоть фамилию свою назови, чтоб знать: тебя вез али нет.

– Добрынин, – негромко произнес Павел.

– Хорошая фамилия, – кивнул, не оборачиваясь, возчик. – Богатырская. А я у вашего колхозного бригадира ночевал, вот он мне и говорил вечером про тебя – честный, говорил, до глупости. А я его этих слов не одобрил. Я ему так сказал: честность – она не от глупости, а от совестности, когда человеку чужого не надо и своего не жалко. Я ему так и сказал. А он не согласился. Вот тогда я и подумал – и почему это в нашей стране так мало народ честность в себе уважает? А?

– Не знаю, – признался Павел.

– Вот и я не знаю. А ведь я тоже народ, и тоже не очень в себе эту честность уважаю. В других уважаю, а в себе – не очень. Вот и вчера вечером... Ну выпили мы с этим бригадиром, а он мне такую маленькую книжечку показывает – сам Ленин, говорит, написал. Ну а я глаза вылупил – я ж про Ленина слышал, – и вот когда бригадир в погреб полез за огурчиками солеными, взял я эту книжечку и под рубаху спрятал. Украл, в общем. А зачем? Ведь неграмотный я. И старуха моя неграмотная. Вот еду теперь и мучаюсь. Хоть и не очень, если по правде...

– Нехорошо это, – вздохнул Павел.

– Да знаю я, знаю, – вздохнул в ответ старик. – А что ж теперь делать?

– У вас в районе школа есть? – спросил Павел.

– Конечно.

– Ну, тогда возьми и отдай ее в школу, чтоб дети читали. Там-то она пользу принесет, – рассудительно сказал Добрынин. – Да и большую, чем в бригадирском доме.

– О-о-о... – задумчиво протянул возчик. – А и на самом деле мудро... и справедливо... Так и сделаю. Тебя сперва отвезу, а потом сразу в школу, я там эту, что грамоте учит, знаю. Ей и отдам.

Ехали они еще долго – лошаденка была старой и едва переставляла ноги. Телега для нее была, все равно что двести вагонов для слабосильного паровоза. Старик то молчал, то говорил что-то, но уже не про честность, а так, из обычной жизни. А Павел в минуты тишины думал настороженно о своем будущем, а в другие минуты слушал старика, который больше к нему не обращивался, а рассказывал все, глядя вперед на дорогу. Так, через некоторое время приблизились они к первым избам районного села. Старик тут же сообщил Павлу, что до революции в их селе больше ста хозяйств было, а сколько их сейчас – он не знал, но колхозное хозяйство у них большое, хоть и неуклюжее.

Остановились у избы с красным флагом на крыше. Из торчавшей к небу кирпичной трубы, к которой и была привязана жердь с флагом, валил дым, густой и клочковатый, как от сгорания сырого угля. Дым летел вверх и приподнимал собою кумач флага, а оттого снизу казалось, что и флаг – черно-красный.

– Прибыли, – сказал старик, прыгнув с телеги. – Заходи туда, спросишь секретаря Коваленкова. А я в школу поеду! Счастливо!

Павел поднялся на порог секретарской избы и оглянулся. Старик стоял перед лошадью, поглаживая ее и строго заглядывая животному в глаза. В избе пахло псиной. Сразу же в сених к

стене была приколочена длинная доска со вбитыми и подогнутыми кверху гвоздями. На одном гвозде висела шинель, на другом – заляпанный глиной ватник.

Подошел Павел к двери, неплотно закрытой, и постучал.

– Чего там? – пробасили оттуда.

Зашел и оказался в бывшей просторной горнице, превращенной в ответственный кабинет. Вместо икон в красном уголке висел портрет Ленина, наклеенный на кусок картона. Портрет этот был знаком Павлу – напечатали его в газетах по какому-то важному поводу.

– Ну, здравствуйте! – привлек к себе внимание посетителя плотный мужчина, сидевший за столом. – Вы ко мне?

– Я... Меня в контролеры выбрали...

– А-а, ну да, мне уже звонили. Павел Александрович Добрынин. Да?

Павел кивнул. Мужчина неожиданно встал и протянул Павлу широченную и мозолистую ладонь.

– Рад с вами познакомиться, – сказал он.

Павел пожал секретарскую руку. После этого сел на стул.

– Вот что, – Коваленков тоже сел на свое место. – Мне поручено инструктаж с вами провести. Предварительный, так сказать, так как вся ответственность ляжет на ваши плечи и инструкции, чтобы справиться с нею, может не хватить. Трудно учесть все ситуации, какие, знаете, случаются... Но вы не волнуйтесь. Прежде всего изучите это!

И Коваленков протянул Павлу тонкую брошюру. Это была статья Ленина «Рабочий контроль». Павел раскрыл ее и на второй странице увидел чью-то неразборчивую подпись.

– Это он сам подписал? – спросил, показывая, у секретаря.

– Нет, это областной секретарь Павлюк. Вам на память.

– Спасибо, – сказал Павел.

– Да это мелочи. Если б вы знали, товарищ Добрынин, как я вам завидую... – и секретарь Коваленков покачал головой, по-доброму глядя на Павла. – Я бы и сам хотел стать контролером, я ведь ответственность люблю! Вот только возраст у меня уже не тот. Да и силы не те... Вы не против у меня переночевать, машина ведь за вами только утром придет?

Павел согласился. Дом у секретаря был просторный. Из-за чистоты деревянного пола Павел стащил с ног сапоги и, размотав портянки, босиком прошел в горницу.

– Красиво тут, – похвалил он обстановку.

– Да, я порядок во всем люблю, – кивнул хозяин. Секретарь усадил Павла за стол, а сам разбудил жену, как оказалось, прикорнувшую в другой комнате, и она, поздоровавшись с гостем, прошмыгнула на двор за свежими овощами.

– Только с работы вернулась, – оправдывался за нее секретарь. – Доярка она, встает ни свет ни заря, вот и устала, конечно.

Вечер наступил быстро. Ясное дело, пили они с секретарем, но не молча и угрюмо, как пили люди раньше, до революции, а живо и с разговорами, так, чтобы польза развитию человеческого от этого была. Жена у Коваленкова отличалась хорошим нравом и послушностью, а когда зашел разговор о животноводстве – так и свое мнение вставила, что очень понравилось Павлу. Сказала она, что ему, как контролеру, при проверке животноводческих хозяйств необходимо будет проверять наличие чистоты на рабочих местах доярок и особенно чистоту их рук, потому как некоторые руки моют только после работы, а коров за вымя берут грязными руками, а ведь коровы тоже чистоту любят и у таких доярок потом доиться отказываются.

Утром с непривычки у Павла побаливала голова, но заботливый секретарь поднес ему стакан крепкого рассола, и сознание у гостя прояснилось.

Одевшись, он выглянул на улицу, где сияло солнце и природа все еще бодрилась, несмотря на приближение похолодания. Прямо за воротами стоял чистенький черный автомобиль. В кабине у руля дремал водитель, одетый в коричневую кожанку.

– Это за вами! – из-за спины донесся голос Коваленкова. – Спозаранку прислали, шофер, бедный, даже не выпался.

– Ну тогда пускай поспит... – проговорил Павел, которому не очень-то хотелось покидать гостеприимный дом, да и тревожило его то, что на неизвестное время покидал он родные места и свою семью. И хоть понятна была необходимость происходящего, но внутри все-таки сидел у него маленький такой человечек, для которого чувство ответственности было чужеродным и который любил жену Маняшу сильнее Родины, за что и попадало ему в мыслях от Павла очень часто, если не сказать, что почти каждый день. Вот и теперь обозвал Павел этого человечка внутренне таким словом, какое еще ни разу вслух не произносил. И затих человечек, замолчал, притаился, обиженный.

А на улице сияло солнце. Погода была беспредельно оптимистической, полностью созвучной времени. Вышел Добрынин во двор и пошел прямо к машине.

– Счастливо! – крикнул ему в спину секретарь, стоявший на пороге своего дома.

Павел оглянулся и махнул рукой на прощанье. Водитель сам открыл дверцу автомобиля и, когда пассажир уселся, завел мотор.

Глава 4

Дезертир Сергуньков, путаясь в своем новом странном одеянии, брел по ночному лесу. В душе он был спокоен, зная леность своих бывших сослуживцев из отдельного красноармейского отряда по поимке беглых колхозников. Однако безветрие лишило лес его привычного шума, а тишина, наступившая взамен, настораживала, и особенно было неприятно Сергунькову слышать, как трещали под его ногами ветки. Каждый раз после такого треска замирал бывший красноармеец на месте, беспрестанно крутя головой по сторонам. Но вокруг, в подсвеченном луной полумраке, стояли лишь неподвижные стволы деревьев, которые порою тоже пугали, потому как казались притаившимися врагами.

Так и шел Сергуньков, жалея о буханке хлеба, которую он, должно быть по глупости, добавил к своей форме при явно неравном обмене. Во всем виновата была ночь, ведь будь на земле больше света – никогда бы он не сменил добротную красноармейскую форму на эту белую мануфактуру с вырезом для головы. Но дело было сделано, и если б не пустой до неприятности желудок, можно было бы думать о чем-нибудь другом.

Опять треснула под ногой ветка, и опять застыл Сергуньков, выжидая. И услышал эхо далекого выстрела, отчего мурашки пробежались по коже. Спокойствие покинуло его, а тут еще после этого растаявшего в ночи эха осталось какое-то едва уловимое жужжание, которое, казалось, становилось все громче и громче и вдруг превратилось в свист пули, отчего Сергуньков сразу бросился на землю и вжался в нее.

А свист продолжался, но был он не таким резким, как обычно при стрельбе, а скорее напоминал посвистывание. И, подняв голову, дезертир увидел пролетающую над ним пулю. Она летела настолько медленно, что напуганный Сергуньков сумел проводить ее взглядом, а под конец и заметить, как она вдруг чуть повернула налево и устремилась вверх, к сосновым кронам.

Из-за всего увиденного взяла Сергунькова оторопь, и, опустившись на землю, подняться он не мог. Возвратившаяся тишина не успокаивала его, не отвлекала его мысли, клочковатые и несобранные, от этой странной пули. И так сидел он, пережидая ночь. Сидел, то впадая в нетвердую дрему, то вдруг просыпаясь по причине внезапной дрожи, вызванной ночной прохладой. И вот, проснувшись в очередной раз и поежась от этой прохлады, он явно услышал треск веток и затаил дыхание. Треск затих, но тут же до его ушей донесся какой-то другой звук. Весь напрягшись и вглядевшись в темноту, Сергуньков увидел приближающиеся к нему три белых пятна. Захотел было вскочить и бежать, но силы покинули его, и от огромной обиды на свою неудачливую судьбу он заплакал. Плача, заметил, как на земле перед ним остановились две босые ступни. Поднял голову и встретился с твердым и недружелюбным взглядом высокого широкоплечего мужчины, одетого в нечто белое. За спиной мужчины стояли еще двое.

– Вставай! – сказал мужчина холодным, вызывающим дрожь голосом. Сергуньков медленно встал. – Ты понимаешь свою вину? – спросил, уставившись Сергунькову прямо в глаза, мужчина в белом.

Дезертир кивнул. Ощущение близкой смерти холодило ноги. Бил озноб. И снова пришла глупая в этот момент мысль о буханке хлеба, отданной в чужие руки.

– Ладно, – устало сказал мужчина. – Мы с тобой там поговорим! – и он кивнул на небо, где все еще висела луна и только цвет ее чуть-чуть изменился – к бледной желтизне прибавился почему-то кровавый подкрас.

Сергуньков тоже посмотрел на небо, на луну. И подумал о маме, живущей во Пскове.

– Иди за мной, – приказал мужчина в белом, и дезертир послушно пошел. Двое других мужчин шли по обе стороны от него, и именно из-за этого понял Сергуньков, что попал не

к красным, а к кому-то другому, потому что в Красной Армии конвоирующие идут всегда за спиной арестованного. Но это открытие не обрадовало его.

– Зачем ты это сделал, брат? – спросил вдруг шепотом конвоир в белом, тот, что шел справа.

Сергуньков пожал плечами. Не будет же он им в самом деле говорить, что соскучился по дому, что в последнем письме от мамы узнал о повальном тифе, охватившем его город, и о том, что Любка, выросшая вместе с ним на одной улице, уехала с каким-то заезжим артельщиком, оставив его без надежды на грядущую семейную жизнь.

Мысли прервались, когда Сергуньков споткнулся, и если бы не левый конвоир, лежал бы он уже на земле.

– Осторожнее, – сказал поддерживавший его. – Здесь ступеньки.

Всю дорогу глядя только себе под ноги, Сергуньков и не думал, что они уже вышли из леса и куда-то пришли. Но состояние его было таково, что любопытства поднять голову и оглянуться по сторонам не возникало. И так же, с тем же смиренным видом поднимался дезертир по ступенькам, сожалея о краткости и бессмысленности своей жизни. Поднимался, переворачивая в голове одни и те же скорбные мысли, пока вдруг не услышал такой тоскливый и созвучный его душе собачий вой. Долетел этот вой откуда-то снизу, и посмотрел Сергуньков, не поднимая головы, чуть в сторону, мимо ступенек. И увидел бездну.

А собака, взывшая на луну и на что-то белое, двигавшееся по небу пониже ночного светила, заскулила негромко и вернулась в свою конуру, зацепив лапой и чуть не перевернув стоявшую тут же миску с вонючей картофельной похлебкой.

Глава 5

Ехали они долго и молча. Шофер только один раз бросил уважительный взгляд на пассажира, но тут же возвратил его на дорогу, которая к тому времени стала уже поровней и в смысле поверхности, и в смысле перспективы.

Павел хотел разговориться с шофером, чтоб узнать от него что-нибудь о городе, куда они ехали, и вообще о шоферской жизни, но сам начать разговор как-то не решался. Все-таки шофер был очень занят управлением автомобиля, и, по разумению Павла, отвлекать его от этого серьезного занятия было нельзя.

А тем временем и сам город показался впереди, и не прошло и десяти-пятнадцати минут, как пассажир, забыв о шофере, разглядывал в окна автомобиля настоящие двух- и трехэтажные каменные дома, виденные прежде только на фотографиях в газетах да на открытках. Но все же настолько разнились эти настоящие дома от тех фотографических, что затаил Павел дыхание, разглядывая их. И особенно поражали его окна, все одинакового размера, но с разными занавесочками. И под каждым таким домом было разбито по клумбе, а в центре некоторых клумб прямо цветами росли портреты выдающихся деятелей эпохи. От всего увиденного у Павла чуть закружилась голова, и он, совершенно ошеломленный, только и сделал то, что покачал ею же, выказывая таким образом свое восхищенное состояние.

– Да, – кивнул согласившийся с ним шофер, который получал особую радость именно от таких пассажиров, впервые видевших из его автомобиля достижения и красоты городской жизни. – А вы еще центральную площадь не видели...

Надо сказать, что центральной площади они так и не увидели, так как перед выездом на нее дорога оказалась перекопана – прокладывался вакуумный мусоропровод, по которому весь мусор города должен был вскоре выбрасываться на дальнюю окраину. Об этом им сообщил подошедший к автомобилю человек в спецовке. Он же и посоветовал, какой дорогой лучше доехать до нужного шоферу места.

Когда машина уже отъехала от человека в спецовке, шофер негромко выругался, сравнив вышеупомянутого человека с одним натуральным удобрением. Обиделся шофер оттого, что человек в спецовке подумал, будто ему, шоферу, неизвестны дороги города.

Но Павел, все это время предававшийся наблюдению из окна, не обратил внимание на сквернословие, раздавшееся в автомобиле.

Вскоре они приехали. Машина остановилась перед красивым величественным зданием этажа в четыре, украшенным высоченными колоннами. На крыше развевался огромный красный флаг, хотя и показалось Павлу, что на улице ветра не было.

Шофер завел Павла внутрь здания, а там его встретили сразу три человека в аккуратных темных костюмах и при галстуках. Они радостно пожали руку Добрынину и повели его вверх по, казалось, бесконечной мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой. Остановились на третьем этаже.

Там их встретил дежурный по этажу в военной форме и в звании лейтенанта.

– Секундочку, – сказал он и ушел за угол по коридору. Минуты через две он вернулся.

– Товарищ Павлюк ждет вас, – доложил лейтенант.

Павел и трое сопровождавших, пройдя по коридору, зашли в большущий кабинет, где их и встретил товарищ Павлюк.

Товарищ Павлюк, одетый в клетчатый пиджак и коричневые брюки, был орденосцем. Был он, как и секретарь Коваленков, плотной наружности, но вид имел более строгий, даже когда улыбался.

Сперва он показал Павлу свою коллекцию самоваров, подчеркнув при этом, что «разумный патриотизм должен в чем-то проявляться». Потом пригласил выпить чая за его широким столом.

– Вот за чаем мы вас и утвердим! – сказал доброжелательно товарищ Павлюк, присаживаясь на свое кресло во главе письменного стола.

Павел бросил на него недоуменный взгляд, который хозяин кабинета сразу понял и поэтому объяснил:

– Дело в том, товарищ Добрынин, что вас выбрали, так сказать, на самом низком уровне, потом вы были в районе у товарища Коваленкова, и должен сказать, что вы ему понравились. Так что он утвердил вас и даже вам, наверно, не сказал об этом. Теперь мы должны утвердить вас как область, и потом уже последняя инстанция... ну, вы знаете какая...

Павел кивнул.

– Но вы не думайте, что мы не доверяем решению вашего колхозного собрания! Такая процедура, понимаете?! Мы ведь вам даже вопросов не задаем... Кстати, вам передали мой подарок?

– Какой? – спросил Добрынин.

– Ну, книжку Ленина с моей подписью?

– Да, конечно, спасибо большое... – затараторил Добрынин.

– Ну, я еще не окончил... Итак, процедура такая, понимаете? – продолжал товарищ Павлюк. – Я вот сейчас при вас спрошу членов партбюро: вам нравится товарищ Добрынин? – И товарищ Павлюк обвел пытливым взглядом троих в костюмах.

Они кивнули.

– Вот видите! – обрадовался хозяин кабинета. – И мне вы сразу понравились. Смотрю – русский человек, открытое лицо, добрая располагающая улыбка. Ну просто идеальный контролер. Вот мы вас и утвердили. А теперь чай и бублики!

Молодой парень, по виду комсомолец, занес в кабинет поднос с румяными бубликами и большой медный чайник с кипятком. Потом в каждую чашку на столе товарищ Павлюк лично всыпал по щепотке чайной заварки.

– Доложите-ка мне о состоянии дел на уборке урожая! – обратился, попивая чай, товарищ Павлюк к членам партбюро.

– У нас все в порядке, – ответил один из них. То же повторили и другие.

– Это хорошо, – довольный, руководитель кивнул. – Так и надо работать!

Потом товарищ Павлюк заговорил с членами партбюро о перспективах постройки в городе кирпичного завода. Павел слушал их краем уха, набираясь знания, и одновременно не мог оторваться от вкусных румяных бубликов, которые просто таяли во рту. Казалось ему, что начавшаяся пару дней назад новая ответственная жизнь обещает ему много таких бубликов впереди, а кроме того подумалось Павлу и о том, что чем больше у человека ответственности, тем больше Родина беспокоится о нем и о его здоровье, и это казалось справедливым.

– Ну что, – вдруг, бросив взгляд на свои ручные часы, обратился к Павлу товарищ Павлюк. – Ваш поезд через час. Как бы не опоздать...

– Поезд? – переспросил удивленный Павел, ничего ни о каком поезде не слышавший.

– Ах, извините, не сказал вам! – спохватился товарищ Павлюк. – Ваш поезд на столицу... Вам же говорили, что вас там ждут?...

Павел кивнул.

– Ну вот... – развел руками Павлюк. – Жалко, что так мало побыли у нас в Манаенковске, но кто знает – может, судьба еще занесет сюда... Будем рады.

После этого товарищ Павлюк вызвал по телефону машину и самолично сопроводил Добрынина вниз по мраморной лестнице.

И автомобиль, и шофер были те же. На этот раз Павел и шофер даже поздоровались друг с другом как старые знакомые.

Ехали снова молча. Но теперь и самому Павлу не хотелось разговаривать. Он все еще разглядывал город, удивляясь его виду.

– Скоро проедем мимо нашего театра! – с гордостью произнес шофер.

Павел приготовился.

Но театра они так и не увидели из-за того, что дорога впереди снова оказалась перекопанной по той же причине прокладывания вакуумного мусоропровода. Шофер еще раз кратко выругался и окольными путями отвез Павла на вокзал, где и посадил его на ожидавший отправления поезд.

Павлу поезд понравился: состоял он из локомотива и всего двух пассажирских вагонов. Потом, правда, перед самым отправлением, к составу подцепили еще какой-то вагон, но рассмотреть его не удалось.

Приятно стучали колеса, а Павел сидел в своем купе и глядел в окно на уходящий, затаивший день.

Завтра начнется новый день, и то, что Павел встретит этот новый день в пути, казалось замечательным и многозначительным.

В купе зашла молодая женщина в железнодорожной фуражке – принесла чай.

– Скажите, а бублики у вас есть? – спросил у нее Павел.

– Да что вы, товарищ! – удивилась женщина. – Откуда здесь бублики?

Павел кивнул, поблагодарил за чай, отпил глоток и понял, что чай не сладкий, но спрашивать эту женщину о сахаре не захотел. Женщина зашла через полчаса с пачкой газет.

– Читать будете? – спросила она.

– Буду, – ответил Павел.

– Три хватит? – спросила женщина.

– Хватит, – сказал Павел.

Железнодорожница отсчитала три газеты и, положив их на столик, ушла.

Пока в купе горела тускловатая лампочка, неизвестно откуда питавшаяся током, Павел внимательно читал принесенные газеты и узнавал из них такое множество всего, что представление его о жизни и о своей Родине расширялось с каждым прочитанным словом. И возникало ощущение, что едет он в поезде посреди огромного строящегося города-гиганта, где люди хотя пока и не живут, но уже вовсю работают, побивая всякие мировые рекорды в областях бурения, угледобычи, выпечки хлеба и плавки разных металлов.

Немного устав от чтения, решил он рассмотреть в одной из газет лица новых орденосцев, награжденных в Кремле, и только поднес он к глазам этот групповой фотопортрет, как лампочка в купе потухла. За окном тоже уже было темно, и, отложив газеты на столик, улегся Павел на нижней полке и, накрывшись теплым ватным одеялом, заснул.

Глава 6

Тропинка вела ангела все дальше и дальше, пока не вывела к соседствовавшей с лесом деревеньке. Вывела, а сама нырнула в грунтовую дорогу и растворилась в ней. Дорога эта была для деревни единственной улицей, потому что все избы, а было их не больше двух десятков, своими окошками выходили на нее. Дальше, за деревенькой, дорога бежала вдоль лугов и где-то там, среди них, терялась.

«Ну вот и первое жилье!» – подумал ангел.

Близился вечер. Во дворе ближней избы женщина развешивала для просушки выстиранное белье.

Ангел подошел к забору и поздоровался, а она, окинув подошедшего взглядом, забежала в дом, так и не ответив на приветствие.

Ангел было развернулся, чтобы идти к другой избе с просьбой о ночлеге и пище, но тут его окликнул мужской голос.

– Подойди-ка! – крикнул невысокий мужичок в полотняных штанах и подпоясанный шнурком холщовой рубаше серого цвета. – Ты беглый, че ли?

Ангел подошел.

– Мне бы переночевать... – сказал он, глядя в лицо хозяина вполне дружелюбно.

– Беглый... – проговорил задумчиво мужичок, оглядывая красноармейскую форму ангела. – Ну заходи!

Пол в сенях из-за нанесенной сапогами грязи казался земляным. Хозяин сам разулся и ангелу сказал сапоги снять, да вдруг заметил, что гость-то босиком пришел. Удивился, порывлся в сундучке, стоявшем тут же, достал худые короткие сапожки и протянул их ангелу:

– Надень-ка!

Ангел послушно надел, потопал в них по полу.

– Ну как? – глядя на ноги гостя, спросил хозяин.

– Хороши, – ответил ангел.

Были сапожки чуть велики, но скрываемая ангелом радость от встречи с такою добротой была еще больше.

Прошли в горницу, а там у русской печки уже хлопотала хозяйка, просовывая кочергой поближе к огню большой горшок.

– Сейчас все будет, все сейчас будет готово... – приговаривала она.

Гость присел на скамью и, уже сидя, покрутил головою, осматривая комнату. Жилье было чистым и аккуратным, широкая кровать, стоявшая за русской печкой как за углом, была покрыта вышитым красными петухами покрывалом. На столе уже лежала осьмина хлеба.

Хозяин заглянул в комнату, улыбнулся гостю и снова исчез в сенях, а потом, видимо, во двор вышел – дверь на улицу хлопнула.

Пока ангел рассматривал горницу, загорелась своим неживым светом маленькая лампочка, привешенная к потолку, а вслед за этим снова хлопнула дверь в сенях и появился хозяин, довольный, но серьезный. Зашел, глянул на лампочку, потом же, переведя взгляд свой на гостя, пояснил, что какая-то птица провод оборвала и пришлось его узлом связать, чтобы пустил он по себе электрический ток в избу.

Полюбовавшись еще недолго светом лампочки, хозяин уселся по другую сторону стола на такую же деревянную скамью и принялся ждать еды.

Тушеная с салом картошка меньше всего походила на райскую пищу, но ангел ел ее с удовольствием, хотя, конечно, больше всего радовался сытному мягкому хлебу. Хозяин тоже набросился на еду так, словно полстраны плугом вспахал. Жевал он жадно и как-то уж очень спешил.

– Еще положить? – спросила хозяйка.

– Нет, спасибо... – сказал ангел.

А хозяин просто помотал головою отрицательно.

– Ну, тогда я остальное вниз спущу! – проговорила женщина и взяла со стола пузатый горшок.

С горшком она прошла в угол горницы, ближний к дверям в сени, и одной рукой подняла деревянный щит – вход в подпол.

Ангел доел свой ужин и почувствовал, что неплохо было бы ему прилечь. Он бросил взгляд на хозяина, но тот все еще жевал, а посему гость перевел взгляд в другую сторону и увидел хозяйку, выбирающуюся из подпола уже без горшка в руках.

Заоконная жизнь тем временем наполнилась темнотою, и сидевший лицом к окну хозяин дождался последний ломоть хлеба и широко зевнул, тут же перекрестивши свой рот.

– Ну че, гость дорогой, – заговорил он мятным полусонным голосом. – Спать небось хочешь?

Ангел кивнул, наслаждаясь внутренним спокойствием тела. Чувствовал себя он в этой избе уютно.

– Ну, че ж, пора уж... – хозяин еще раз зевнул, а после поискал взглядом жену. Взглядом не нашел, но слухом услышал – возилась она с чем-то у кровати за русской печкой.

– Валя! – окликнул ее мужичок. – Где гостю постелем?

– Дак стелить-то уж нечего... Внизу все, пускай спускается да вместе с солдатиком и ляжет... – отвечала из-за печки жена.

– Ну, слышь, – хозяин развел руками. – Ну, да и ты вроде солдатик, так что уж не в обиде...

– Тама не закрыто, покажи ему! – добавила хозяйка и тут же уронила что-то и шепотом выругалась.

Подвел хозяин гостя ко входу в подпол, и полез ангел вниз по лесенке. Спустился, а там тоже светло и такая же лампочка горит, только низковатый подпол оказался – прямо по его росту. Правда, размером он был чуть поменьше горницы, и тоже стол там стоял, три лежанки деревянные, застеленные чем-то полотняным. На столе – горшок тот самый, что хозяйка уносила, а за столом – люди. Чуть пригнулся ангел, чтобы свет от висевшей рядом лампочки глаза не резал. И увидел троих сотрапезников за едою: старика и двух людей помоложе возрастом, из которых один был в похожей зеленой одежде, а второй – в суконной рванине.

Ангел поздоровался, и трое сотрапезников кивнули ему в ответ. Ели они сосредоточенно и как-то устало, но усталость эта скорее была написана на их лицах. Появление новичка их не смутило и не удивило.

Доев картошку, они передохнули чуток. Старик тут же пошел и улегся на стоявшую в углу лежанку. И отвернулся от света и от остальных.

Человек в зеленой одежде внимательным образом осмотрел ангела, потом обменялся взглядом со своим соседом по столу.

– Ты из какого отряда? – спросил он ангела, выковыривая пальцем что-то из зубов.

– Я не из отряда... – проговорил ангел. – Я с неба спустился... посмотреть хотел, что тут...

– С луны ты свалился, а не с неба!.. – оборвал злобно человек в зеленой одежде. – Что, не мог обменять где-то свою форму?

– Но ведь и у вас такая одежда... – возразил на это ангел.

– Я уже договорился. Мне хозяин принесет этой ночью.

– Может, он и мне принесет? – подумал вслух ангел, уже понявший, что одежда, которую он имел на себе, способна стать причиной многих неприятностей.

– Тебе он не принесет. Нету у него больше... Да и чем ты платить будешь? Я-то ему ружье дал, а у тебя ж ни шиша нету, даже из карманов ничего не выпирает.

Ангел провел рукой по карманам и действительно убедился в их пустотелой гладкости.

– А ты скажи хозяину, что отработаешь у него на свинарнике! – посоветовал парень в суконной рванине. – У него свинарник есть, я когда подходил к дому – слышал!

– Не-е-е, – протянул солдатик. – Что он, себе дурень, чтобы разрешать дезертиру в форме свой свинарник убирать?!

Старик, лежавший на угловой лежанке, захрапел, и все трое посмотрели в его сторону.

– Аче? – заторможенно проговорил парень в рванине. – Может, пристукнуть старика, тогда и переоденешься? Хотя коротковато все будет, но глянь, какое сукно.

– Зачем пристукнуть? – удивился ангел. – За что?

– Сам-то он не отдаст, и, вишь какой, на ночь не раздевается, во всей своей одежде спит, – объяснил парень. – А значит: если не пристукнуть, то и не переоденешься.

– Да ладно, – ангел махнул рукой. – Где-нибудь потом переоденусь.

– Дурень, – сказал, как отрезал, дезертир.

Открылся со скрипом вход в подпол, и хозяин, приспустившись на пол-лестницы, бросил дезертиру узелок.

Дезертир спешно развязал его – оказалось, что это и есть обещанные лохмотья. Тут же переоделся и разглядел себя.

Парень в рванине хохотнул, хотя сам был одет не лучше, а ангел улыбнулся: на дезертире теперь были синие штаны, обрезанные чуть ниже колен, и верхняя часть женского сарафана, конечно, без рукавов, и цвета неопределенного, от которого в глазах рябило.

Дезертир, не сказав ни слова, бросил хозяину в руки свою военную форму. Скрипнула лестница, и вход в подпол закрылся.

– Спать надо... – буркнул только что переодевшийся и, подойдя к лампочке, что-то с ней сделал, отчего она погасла.

В полнейшей темноте ангел стоял и слушал, как устраиваются на своих лежанках обитатели этого подпола. А когда стало тихо, он спросил:

– А где мне можно лечь?

– На стол ложись! – проговорил из темноты дезертир.

Ангел послушно забрался на стол, лег на бок, подогнув под себя ноги, чтобы не свисали, и попробовал заснуть. Но было ему и холодно, и неудобно, и поэтому лежал он на столе без всякого удовольствия и занимал себя мыслями, в которых понять пытался встреченную им жизнь. Лежал он так и тогда, когда воздух в темном подполе наполнился храпами, сопеньями и чьим-то бормотанием во сне. Бормотание было про любовь, про любовь несчастную и неразделенную, и сделалось от этого ангелу еще грустнее и неудобнее. И слушал он это бормотание с затаенной болью до тех пор, пока не прозвучало откуда-то сверху, и не из комнаты, что над подполом располагалась, а вообще с земли, некое механическое рычание, которое, однако же, вскоре затихло, но на смену ему пришли другие шумы и голоса, и наполнили они собою уже не всю землю, а ту комнату, что располагалась прямо над ними, и заскрипели виноватым скрипом доски пола, по которым расхаживал кто-то, а может, и расхаживали, потому что голосов было несколько, и среди них улавливался негромкий голос хозяина, однако говорили чаще другие, более грубые голоса. Потом разом все стихло, но тотчас открывшийся вход в подпол впустил вниз целый коридор света.

– Эй, там, выходи все! – крикнул кто-то сверху, и тут же в углу ойкнули громко, словно от сновившегося кошмарного сна.

– Выходи! Неча отлеживаться! – повторил голос.

Ангел, будучи не спящим, слез со стола и, войдя в этот до рези в глазах яркий коридор, созданный такою маленькою лампочкой, поднялся по лесенке и остановился, увидев перед собою четырех вооруженных красноармейцев.

– Садись пока! – ткнул рукою на скамью у стола один из них. Ангел сел.

Тем временем поднялись из подпола и остальные. И их усадили у стола; вперед на шаг выступил красноармеец постарше, осмотрел странную компанию, задержав взгляд на обрезанной верхней половинке сарафана, одетой на дезертире. Ухмыльнулся.

– Ну, – сказал он, – кто откуда будет? А?

На сей вопрос ответа не последовало, и тогда красноармеец пальцем показал на парня в суконной рванине и, сощутив глаза, спросил:

– Ты! Откуда сбег?

– Из колхоза, – дрожащим голосом ответил парень.

– Какого колхоза?

– «Заветы Ильича».

– Ишь ты... – покачал головой красноармеец. – Из «Заветов Ильича» сбег! И не стыдно?!

– Стыдно... – сказал парень и опустил голову.

– Эт у тебя первый побег? – все допытывался красноармеец.

– Ага, – сказал парень.

– Ладно, – красноармеец вздохнул и перевел взгляд на дезертира. – А ты?

– Я не сбегал, я по делам шел... и здесь заночевать попросился... – заговорил тот.

– А кто ж тебе такую сарафанную сорочку сшил? Жена што ли? – заулыбался красноармеец.

– Да, жена... – кивнул дезертир.

– Ну че, правду говорит? – красноармеец повернулся к хозяину, голубоватому лицом из-за недосыпа.

– Не-е, – ответил хозяин. – Эт он со мной поменялся. Свою-то форму мне дал, а это я ему кинул...

– Ах ты сволочь! – чуть было не бросился дезертир на хозяина, но вовремя заметив, как один из красноармейцев выставил в его сторону винтовку со штыком, усидел-таки на месте.

– Та-ак, – красноармеец покачал головой. – Откуда сбег?

– Тридцать восьмой кавалерийский особый отряд по поимке беглых колхозников... – проговорил упавшим голосом дезертир.

– Ишь ты! – снова покачал головой красноармеец. – А мы из тридцать девятого механизированного особого отряда по такой же поимке... Первый раз бежишь?

– Второй... – сознался дезертир.

– Ясно, – красноармеец посмотрел на ангела. – А ты? – спросил он.

– Я... – начал было отвечать ангел, да запнулся, понимая, что правду говорить нет смысла, а неправду, в которую эти люди с радостью поверят, – не хотелось говорить.

– Чокнутый он! – брякнул беглый колхозник. – Старика пристукнуть не захотел...

– Эт точно, чокнутый! – подтвердил дезертир, и красноармеец с усилившимся интересом посмотрел на ангела.

– А в форме чего? Дезертир пожал плечами.

– Поменяться попросил один... – сказал ангел. – Я ему свою отдал, а он мне эту...

– Дезертиру, значит, помог! – негромко проговорил красноармеец. – Нехорошо. Придется приравнять тебя за это к беглым колхозникам. И то лучше, чем дезертиром из Красной Армии быть.

Красноармеец посмотрел пристально на дезертира, пожевал губы, размышляя о чем-то военном, потом спросил у хозяина:

– А много ли они съели?

- Да много, ясное дело. Картошки полпуда, сала четыре фунта, две курицы...
- Врешь! – заверещал беглый колхозник. – Не было куриц, и сала там на грош съели!
- Куриц старик съел, – добавил хозяин. – Ему ж положено?! Старик кивнул.
- Ну а как вам здесь, отец? – спросил старика красноармеец.
- Да ничего, все одно лучше, чем в тринадцатом на каторге.
- Ну еще посидите...

Старик обратил свой усталый взгляд на красноармейца.

- Мне б гулять иногда... – попросил он. – А, сынок? Можно?

– Ну, ночью можно, – ответил красноармеец. Потом же, обернувшись к другим солдатам, стоявшим за его спиной, скомандовал: – Этих троих в кузов, старика оставить и принести сюда те два мешка картошки.

– Товарищ командир! – просительным голосом обратился хозяин. – А вы ж обещали еще проса и овса на три трудодня...

- Эт в следующий раз! – сказал красноармеец так твердо, что хозяин кивнул и замолчал.

Ангел, дезертир и беглый колхозник были выведены солдатами на дорогу, где им приказали забраться в кузов стоявшего там же грузовичка, куда также залезли два красноармейца. А командир их с другим солдатом, который кроме прочего был еще и шофером, сели в кабину машины и, не попрощавшись с вышедшим их проводить хозяином, завели мотор.

Мотор взревел так сильно, что сверху, с безоблачного глубокого неба сорвалась одна звезда и на глазах у хозяина застремила вниз, однако по дороге угасла и упала вследствие этого невидимо, да и, должно быть, далеко от этих мест, так как при близком падении звезд должен возникать гром, а тут было тихо, и только удаляющееся рычание машины нарушало ночную тишину и отвлекало мысли хозяина от остальных звезд, светивших ярко и уверенно.

Глава 7

В столицу поезд прибывал утром.

Как только в окне появились первые постройки, Павел вскочил и приготовился выходить. Но дома все продолжались и продолжались, и не было им конца, и понял тогда Добрынин размеры столицы. Стал терпеливо ждать, а чтоб не скучно ждать было – решил проверить свою котомку, собранную женой Маняшей по случаю отъезда. Сначала вытащил оттуда топор, полученный от нее же напоследок, потом полотняный мешочек с сухарями, немного проса, карандаш, чистую бухгалтерскую тетрадь и просто листок бумаги с кое-какими буквами. Прочитал. Маняша в той записке просила не забывать ее и детей их и писать им письма из всяких мест, куда работа закинет. Больше в котомке ничего не было, и положил Павел все, кроме топора, обратно, а что делать с топором – думал-думал, а придумать не мог. С одной стороны, топор – вещь хозяйская и полезная, но с другой – возить его по стране и тяжело, и как-то неприятно. Подумал было оставить в поезде, но тут же откинул эту мысль, ведь всякому человеку он может в руки попасть, а что, если убийца найдет его и убьет кого-нибудь? Нет, в купе оставлять его было нельзя. Отдать железнодорожнице? Но на что он ей? Дрова они в поездах не рубят, а топят все углем брикетным, а с другой целью он ей не понадобится. В общем, решил пока взять с собой, а уже потом решить, как с ним быть дальше.

А тут, пока решал он про топор, и вокзал показался. Поезд подъезжал к нему медленно. Павел терпеливо и смирно сидел на нижней полке своего купе, в котором без всяких попутчиков пережил всю дорогу.

Наконец поезд остановился.

Кивнув на прощанье проводнице, Павел вышел из вагона и огляделся, отчего сразу закружилась голова. Ведь это не то, что в селе или в поле оглядываться: кругом многоэтажные дома, столбы фонарные в два раза выше сельских. Звуки, краски, мельтешение людей и машин. Было отчего голове закружиться.

– Вот он! Вот он! – раздался рядом чей-то радостный выкрик.

Павел обернулся и увидел запыхавшегося молодого человека в сереньком костюмчике и кепке с фотоаппаратом в руках. Пока он разглядывал его, подошли еще трое. А за их спинами неслышно ехал по перрону черный и блестящий, как хорошо начищенный сапог, автомобиль.

– Расскажите о себе! Это для «Известий»! – попросил один из подошедших, держа в руках блокнот и ручку.

– Родился я в селе Крошкино в семье бедняка... – говорил Добрынин, внимательно наблюдая за приближающимся автомобилем. – А теперь я женат и имею двух детишек: Дарьюшку и Петьку...

– Скажите для «Стальной магистрали», – попросил парень в сереньком костюмчике и кепочке. – Как в вашем колхозе отнеслись к оказанному вам доверию?

– К доверию отнеслись хорошо... – Павел кивнул, глядя, как из остановившегося за спинами корреспондентов автомобиля вышли двое степенных мужчин. Один из них поправил съехавший на сторону бордовый галстук, а второй наклонился к автомобилю и вытащил оттуда букет красных гвоздик. После этого они просто стали за спинами корреспондентов, ожидая, по-видимому, окончания интервью.

– А как вам понравилось путешествие в столицу на поезде? – спрашивал третий корреспондент.

– Понравилось... – признался Добрынин.

– А вы до этого уже ездили на поездах?

– Нет, – ответил Павел.

– Закругляйтесь, товарищи журналисты! – строго, но с уважением произнес вдруг один из подъехавших на автомобиле. – Товарищу Добрынину следует отдохнуть с дороги. У него еще много дел. Прошу понять!

Корреспонденты, похоже, сразу поняли и, откланявшись и пожелав всего самого доброго, удалились.

– От имени руководства нашей великой Родины приветствуем вас в столице, – говорил мужчина, вручая Павлу букет гвоздик. – Сейчас мы отвезем вас на служебную квартиру. Отдохнете там немного, а позже заедем за вами и – в Кремль.

Блестящий черный автомобиль внутри был просторен, как сени в хорошей избе. Прильнув к стеклу задней дверцы, Павел все еще следил за проносящимися мимо зданиями и картинами городской жизни. Следил вяло, и взгляд его оживал только когда машина останавливалась на перекрестке, давая возможность Павлу увидеть кусочек столицы в своей гордой неподвижности. Правда, неподвижность эта была относительной, так как под зданиями, по тротуару, бесцеремонно ходили по своим делам свободные советские люди, даже не подозревая о том, что своим движением привносят они что-то особое в столичные впечатления заезжего гостя.

Однако автомобиль не очень-то задерживался на перекрестках, а вскоре и вовсе свернул на узкую дорожку, проехал мимо отдавшего ему честь милиционера и остановился во дворе солидного каменного здания, парадный вход которого был украшен двумя статуями тружеников.

– Ну вот вы и дома! – сладко произнес степенный мужчина, снова поправляя съехавший на сторону бордовый галстук.

– Виктор Степанович, – обратился второй степенный мужчина к первому. – Ей-богу, не стоит этот галстук банки селедки! Надул тебя Петренко! Обменяй лучше назад.

Первый, тот самый Виктор Степанович, посмотрел на коллегу строго и покачал головой.

– Не мог Петренко надуть, – сказал он. – Выходите, товарищ Добрынин.

Павел и Виктор Степанович поднялись на третий этаж. Следом за ними туда забежал дежурный дворник и, открыв квартиру номер три, вручил ключ Добрынину.

– Ну вот, проходите, осмотритесь... – приговаривал Виктор Степанович. – А я пока этот чертов галстук перевяжу.

Павел опустил на пол котомку, снял в прихожей сапоги, разматал портянки и хотел было идти дальше босиком, но тут заметил стоявшие в ряд три пары тапочек различных размеров. Сунул ноги в ближнюю пару и пошел.

Квартира была огромна. После каждого взгляда на потолок кружилась голова, и Павел решил больше вверх не смотреть. В самой большой комнате посередине стоял круглый стол, под одной стеной – диван и два кресла, под другой – блестящий узорным стеклом сервант, внутри которого стояли три юбилейные вазы с какими-то датами и надписями.

– Ну, как вам тут? – спросил, зайдя в комнату, Виктор Степанович.

– Да хорошо... – Павел обернулся.

– А теперь пойдемте, я вам покажу ваш кабинет.

Они прошли коротким коридорчиком и вошли в невысокую дверь. Комната, открывшаяся глазам Павла, была поменьше первой, но намного более приманчивой из-за того, что три ее стенки были заняты книжными шкафами, а перед широким светлым окном стоял массивный письменный стол, на котором радовали глаз настольная лампа с зеленым абажуром, прибор для письменных работ и сурового вида телефонный аппарат.

– Здесь вот собрания сочинений наших классиков, – продолжал пояснения Виктор Степанович. – Это для работы и справок. Запомните, что все работы Ленина, Маркса и Энгельса у вас есть, а остальных авторов можете заказать по телефону прямой связи, если возникнет на то необходимость. Ну, думаю, тут все понятно...

И вдруг телефонный звонок оборвал Виктора Степановича. Он метнулся к столу и снял трубку.

– Да... да, это я... – сказал он кому-то, после чего посмотрел в глаза Добрынину и левой рукой сделал какой-то не совсем понятный жест. – Да... думаю, что не долго... – продолжал говорить он.

Потом, прикрыв ладонью микрофон трубки, он снова посмотрел на Добрынина и сказал уже другим, менее вежливым голосом:

– Павел Александрович, выйдите в коридор! Павел попятился, вышел из комнаты.

– Да вы что! – убеждал кого-то Виктор Степанович так громко, что даже закрытые двери в кабинет пропускали сквозь себя его голос. – Кому вы верите! Это же известный негодяй! Да, хорошо, я отвечу. В присутствии всех!

Павлу не хотелось слушать чужой разговор или даже часть его, и поэтому сначала он решил было вернуться в большую комнату, но внимание его привлекла другая дверь дальше по коридору. Он пошел и осторожно, словно и сам был гостем здесь, толкнул ее. Дверь приоткрылась, и в ее проеме увидел Павел широкую кровать, две тумбочки, на которых стояло по вазе с цветами, и – самое поразительное – на этой кровати спала женщина. Она спала лицом к окну, и Павлу видны были лишь ее каштановые кудри.

Павел испугался и, прикрыв дверь, на цыпочках отошел. И тут оберегаемую им тишину нарушил Виктор Степанович, неожиданно выглянувший в коридор.

– Заходите! – громко позвал он Добрынина.

Павел вернулся в кабинет и застыл, ожидая дальнейшего.

– Вот... – в голосе Виктора Степановича чувствовалась нервозность. – Просили вас прочитать сегодня статью Ленина «Как реорганизовать рабкрин», пока будете отдыхать... она небольшая...

– Извините, – Павел поднял глаза на огорченного телефонным разговором Виктора Степановича. – Там, в комнате, женщина спит... Может, это не та квартира?

Виктор Степанович задумался на мгновение, сведя брови над переносицей, потом быстро очнулся, и на лице его возникла толстогубая улыбка.

– Да нет! – опять открыто и сладко произнес он. – Это... Это ваша служебная жена... Мария Игнатьевна... Отдыхает, наверно. Я сейчас разбужу ее, и познакомитесь...

– Не надо! – попросил Добрынин.

– Почему не надо? – искренне удивился Виктор Степанович. – Где же это видано, чтобы муж и жена не были знакомы?

– Может, потом... – замялся Добрынин. – Пусть отдыхает, спит пока...

– Ну как хотите... – пожал плечами разочарованный Виктор Степанович. – Ладно. Тогда и вы отдохните, статью прочитайте – она у вас на столе. А я через три часа заеду за вами. Да, вот еще что, там дальше, за спальней, две двери – так это туалет и ванная. Разберетесь?

Павел кивнул.

– Ну, до встречи!

В прихожей хлопнула дверь – Виктор Степанович покинул служебную квартиру Добрынина, – и звук этот отвлек ее нового владельца, освободил его тело и мысли от ненужного напряжения. Павел подошел к столу, опустился в удобное кресло и заглянул в оставленную для чтения статью.

Первой строчки статьи Павел не понял и поэтому наклонился пониже к раскрытому томику.

Снился ему трактор и родной колхоз. И хоть сам он механизатором не был, но во сне своем сидел в кабине новенького МТЗ и пытался завести двигатель. Но двигатель не заводился. Он пробовал еще и еще и вдруг почувствовал, как задрожал, завибрировал металл.

«Завелся!» – радостно подумал Павел во сне и тут же понял, что звук, услышанный им, никакого отношения к трактору иметь не мог.

Это звонил телефонный аппарат.

Оторвав голову от статьи вождя, Павел взял трубку и поднес ее к уху.

– Говорите! – предложил он кому-то неизвестному и невидимому.

– Марию Игнатьевну, пожалуйста! – попросил вежливый мужской голос.

– Кого? – спросонья переспросил Павел.

– Марию Игнатьевну, – терпеливо повторил мужской голос. – Ее служебная фамилия Добрынина.

– А-а... – протянул Павел и положил трубку на раскрытую книгу.

Вышел в коридор. Заглянул в спальню. Женщина еще отдыхала. Постояв минуту в раздумье, Павел негромко постучал по открытой двери.

Кровать скрипнула, и из этого Добрынин сделал вывод, что его услышали.

– Вас к телефонному аппарату! – сказал он и быстро вернулся в кабинет.

Подошел к ближнему книжному шкафу и стал проверять правильность очередности томов Ленина.

В кабинет вошла Мария Игнатьевна в длинном сиреневом халате.

– Здравствуйте! – она ослепительно улыбнулась Павлу и прошла к столу.

Чуть полноватая, Мария Игнатьевна была тем не менее женщиной красивой, и Добрынин это понял сразу. Вся фигура, аккуратно завернутая в сиреневый халат, выдавала в ней бывшую физкультурницу, а в лице, вдобавок к этому, можно было «прочитать» много других положительных качеств, таких, как доброта, решительность, смелость и ум. Насчет последнего качества, читаемого в каждом взгляде карих глаз его служебной жены, Павел было усомнился. Усомнился в том смысле, что не был полностью уверен: стоит ли считать ум положительным качеством у женщины. Но тут же сам этому сомнению и возразил, чему искренне удивился, так как до этого сам себе ни разу не возражал. Удивился и стал думать, откуда такая способность в нем возникла. И в конце концов пришел к выводу, что он просто-напросто поумнел вследствие большого количества книг в кабинете или же оттого, что спал он, склонив голову на раскрытый томик Ленина. Такой вывод успокоил его.

– Да, да, это я... – говорила кому-то Мария Игнатьевна.

Павел любовался ее профилем. Может быть, заметив это, а может, и по другой причине, она обернулась и бросила на Добрынина взгляд, который он не понял. Однако, припомнив, как Виктор Степанович попросил его выйти из кабинета на время телефонного разговора, Павел решил, что и этот взгляд должен был означать нечто подобное, и покорно вышел в коридор, прикрыв за собою дверь.

Из коридора не было слышно ни слова из телефонного разговора его служебной жены с кем-то неизвестным. Видно, разговор проходил спокойный и приятный.

И все-таки было что-то неприятное для Павла в факте обретения им служебной жены. Простой логикой он понимал, что раз так организовано сверху, значит и должно так быть, но чувства, крепко связывавшие его с Маняшей и детьми, возмущались, протестовали и проявляли другие признаки несогласия, выражавшиеся в том, что не чувствовал он себя в этот момент самоуверенным, как обычно. Хотя и это можно было списать за счет стояния в коридоре, ведь известно, что даже самое короткое по времени стояние в коридоре может любого человека лишить самоуверенности: от дворника до командарма.

Но дверь в коридор открылась, и увидевшая Павла Мария Игнатьевна развела руками.

– Я думала, что вы по делам вышли. А если вы из-за телефонного звонка, то совершенно зря! У меня от вас секретов быть не может... Это Владимир Анатольевич звонил... Да проходите же!

Павел снова вошел в кабинет.

– Вы кушать хотите? – спросила служебная жена.

– Да, – признался Павел, полагая, что сейчас Мария Игнатьевна проследует на кухню, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое, и таким образом он останется в кабинете один.

Но Мария Игнатьевна подняла телефонную трубку и спокойно произнесла:

– Пожалуйста, два обеда в третью квартиру. – Здесь на первом этаже кухня, – объяснила она, уловив во взгляде Павла признаки недопонимания. – Очень хорошо готовят! Ну а я пойду приведу себя в порядок.

Когда она вышла, Павел облегченно вздохнул. Присел за стол с твердым желанием прочитать-таки предложенную статью.

Статья загипнотизировала Добрынина таинственностью мысли. Он уже дошел до последней точки, а ни подняться, ни пошевелиться не мог.

И тут очень кстати заглянула Мария Игнатьевна.

– Обед на столе! – сказала она мягко, приятностью своего голоса освобождая Павла от ленинского гипноза.

Стол был накрыт в небольшой столовой, которую Виктор Степанович почему-то не показал Павлу. Собственно, там только и могли разместиться один стол да четыре стула.

Павел сразу сел и придвинул к себе тарелку с борщом. Мария Игнатьевна же начала с салата из свежих овощей, запивая его минеральной водой.

Борщ был вкусным. Может быть, даже вкуснее Маняшиного. И что-то еще в атмосфере этого обеда было родным и близким. И чтобы понять и найти это близкое, Павел на мгновение остановился и перестал жевать. И точно – тиканье часов заполнило тишину, и Павел, найдя взглядом висевшие на стене ходики, уставился на них с любовью и тихой радостью.

Туда же посмотрела и Мария Игнатьевна, доедая салатик. Посмотрела, улыбнулась про себя, перевела взгляд на мужа. Потом принялась за борщ. Ела его культурно, не нарушая атмосферы и не заглушая тиканья ходиков, так обрадовавшего Павла.

Но как ни оберегала она радость Павла, тиканье заглушил дверной звонок.

Выскочив в прихожую, Мария Игнатьевна открыла дверь и увидела Виктора Степановича.

– Павел Александрович готов? – спросил он. – Машина ждет внизу.

– Муж обедает, – чинно ответила Мария Игнатьевна.

Виктор Степанович, знавший эту красивую женщину только в меру пересечения их служебных обязанностей, позавидовал Добрынину и посочувствовал себе, имевшему только законную жену, от которой с удовольствием избавился бы по приказу партии. Но партия не приказывала, и жизнь его вследствие этого не менялась в лучшую сторону, а скорее совсем наоборот. Но кого это интересовало?!

В машине Виктор Степанович как старому знакомому пожаловался Добрынину на неприятности, связанные с партийным строительством, обругав при этом совершенно не знакомых Павлу людей. Павел слушал и кивал.

– А зачем вы котомку с собой взяли? – спросил вдруг Виктор Степанович. – Вы же сегодня еще вернетесь в служебную квартиру.

– Да так, – ответил Павел. – На всякий случай.

Виктор Степанович помолчал, потом продолжил ругать своих сотрудников.

Автомобиль выехал на Красную площадь, и тут у Павла сперло дыхание – он увидел Кремль.

Сделав несколько глотательных движений, он повернулся к Виктору Степановичу и, тыча рукой в сторону сердца Родины, спросил сдавленным голосом:

– Это Кремль?

– Да, – ответил тот. – Кремль. А что?

Да, для человека, из окна кабинета которого были видны и колокольня Ивана Великого, и пара рубиновых звезд на башнях, слово «Кремль» имело совсем иное значение, чем для Павла Добрынина из далекой деревни Крошкино. Как-то сами собой захотели выпрямиться ноги, и Виктор Степанович напряженно проследил движение своего спутника вверх, пока голова Павла не уперлась в мягкий потолок автомобиля. Тут-то трепетное напряжение и отпустило Добрынина, и он снова опустился на сидение, не сводя, однако, глаз с дороги, которая вела в – страшно сказать – Кремлевские ворота, а потом и дальше, по святой для каждого советского человека брусчатке.

По этой брусчатке машина ехала медленно, может быть, даже со скоростью обычного пешего человека.

Остановилась так незаметно, что если бы не застывший сбоку угол здания, то Павел бы еще думал, что они едут.

Выходя из автомобиля, Павел взял с собой и котомку, но на этот раз Виктор Степанович промолчал, только вздохнул негромко. На торце здания виднелась невзрачная дверь – должно быть служебный ход. Туда они и направились.

Сразу за дверью стоял милиционер. Он ощупал строгим взглядом Виктора Степановича, потом кивнул ему – тот прошел, а милиционер уже принялся за Павла. Взгляд его заинтересовался котомкой, и, повинувшись четким жестам милиционера, Павел опустил котомку на стол дежурного. Гулко ударил топор о столешницу, и милиционер прищурился. Открыв котомку, он первым делом извлек оттуда мешочек с сухарями, потом все прочее и уже в самом конце – топор. Глядя на последний извлеченный предмет, милиционер задумался, и сопровождалось это такой тишиной, что у Павла заложило уши.

– Товарищ милиционер, – заговорил вдруг Виктор Степанович. – Нас ждет товарищ Калинин.

Милиционер позвонил кому-то из своего начальства, доложил о топоре и подозрительных сухарях, и о том, что посетителей якобы ждет товарищ Калинин. Буквально через полминуты зазвонил второй телефон на столе, и схвативший трубку дежурный милиционер только то и делал, как кивал в трубку и повторял «так точно» и «слушаюсь».

Опустив трубку на место, он повернулся к Виктору Степановичу.

– Можете идти. Знаете куда?

– Конечно, – ответил Виктор Степанович, и голос его теперь звучал строго. – Каждый день хожу!

– А это здесь оставьте! – милиционер показал пальцем на котомку и ее содержимое. – С этим приказано разобраться.

– Ну, пошли! – негромко сказал Виктор Степанович Добрынину.

– А... – Павел хотел было спросить о своих вещах, но Виктор Степанович махнул рукой и взглядом указал на мраморную неширокую лестницу, покрытую довольно истоптанной бывшей красной ковровой дорожкой.

– Заберем! – сказал он уже на втором этаже. – Не пропадут ваши сухари!

В скромном кабинете, почти лишенном мебели, их встретил сухощавый высокий мужчина лет сорока пяти в темном костюме с орденом. Он приветливо улыбался, ладонью правой руки поглаживая свою «китайскую» бородку.

– А-а-а! – протянул он, прищуриваясь и разглядывая Добрынина. – Вот вы какой! – и покачал головой, как бы удивляясь и давая внешнему виду Добрынина наивысшую оценку.

Правда, не было понятно, что он имел в виду. То ли открытое и по-простому красивое лицо народного контролера, то ли его одежду, тоже простую и относительно аккуратную.

– Ну заходите, садитесь вот сюда, за столик. Поговорим, – приглашал товарищ Калинин, отступая в глубь кабинета. – Жалко только, что к чаю здесь у меня ничего кроме сахара нет...

Павел открыл было рот, хотел сказать: «А у меня сухари были, да их ваш милиционер забрал!», но не сказал, испугавшись, что в Кремле так разухабисто говорить не положено.

Хозяин кабинета заметил, как Павел хватанул ртом воздух, да смолчал, и спросил его прямо:

– А что вы сказать хотели, товарищ Добрынин?

– Да я... У меня к чаю там, в котомке... сухари были, а их забрал...

– Кто забрал?! – сурово спросил Калинин, и улыбка сошла с его лица, превратив добрый прищур его глаз во взгляд двух мелкокалиберных винтовок.

Павел рассказал ему о том, что произошло внизу, и тогда товарищ Калинин выглянул в коридор и что-то прокричал туда, а потом, как ни в чем не бывало, настойчиво попросил посетителей сесть за стол, и сам тоже присел. Это был приставной столик как раз на троих посетителей, делавший всю мебельную комбинацию этого кабинета похожей на витиеватую букву «Т». Но товарищ Калинин не пошел обходить большой письменный стол, чтобы усесться в свое кресло, а присел тут же, словно был третьим посетителем.

Военный внес на подносе три стакана с подстаканниками, сам же и разлил по стаканам чай, потом поставил на столик сахарницу, доверху наполненную рафинадными кусочками. И вышел.

А еще через минуту в кабинет внесли котомку Павла. Внес ее пожилой милиционер, передал прямо в руки владельца и исчез.

– Ну, давайте ваши сухари! – весело скомандовал хозяин кабинета.

Добрынин вытащил заветный мешочек, развязал и высыпал прямо на подносик несколько сухарей. И тут же заметил, что один сухарь был надкушен.

Это же заметил и товарищ Калинин и огорченно покачал головой.

– Что поделаешь, – сказал он. – С дисциплиной у нас, конечно, не все в порядке... Ну да ладно!

И он взял целый сухарь, помочил его в чае и громко грызнул.

За чаем говорили о сельской жизни, о прошлом, о будущем, но разговор шел какой-то несерьезный. А в конце разговора хозяин кабинета посмотрел вдруг пристально на Виктора Степановича и то ли в шутку, то ли всерьез сказал:

– А ты, Степаныч, зря этот галстук у Петренки на селедку выменял! Сдается мне, что галстук-то ворованный...

Павел видел, как его спутник побледнел и пальцы прижал к столу, чтобы не дрожали. А тут еще хозяин кабинета попросил его выйти, чтобы с народным контролером с глазу на глаз побеседовать.

Павлу даже жалко стало Виктора Степановича – так он медленно из-за стола поднимался, словно ему предстояло на казнь идти. Но ничего не поделаешь – вышел, как сказали, и остался Добрынин наедине с товарищем Калининным.

– Ну вот что, Павел... Можно, я тебя буду по-простому называть?

Павел кивнул.

– Тогда давай о деле. Статью о рабкрине прочитал?

– Да, – ответил Павел.

– А понял?

– Нет, – признался контролер.

– Ну ничего, – успокоил его Калинин. – Главное – не понимать, а действовать. Понятно?

Павел снова кивнул.

– В общем, задача твоя не из легких, – продолжал хозяин кабинета. – Родина у нас, как ты понимаешь, большая. Везде глаз да глаз нужен, и то порядка мало. Поэтому на Политбюро и было решено выдвинуть из самой честной народной среды ряд верных тружеников, обучить их всем способам народного контроля и отправить в различные области и края, чтобы вели они

там беспощадную борьбу за настоящий порядок, за качество продукции и выполнение всех поставленных задач. Но положение в промышленности усложнилось, и приходится посылать вас без достаточного обучения. Но народ у нас смывленный. Да, я думаю, ты и сам до всего дойдешь. Вкратце-то я тебе объясню. Я ведь с каждым таким контролером лично беседую и скажу прямо: контролеров у нас мало, и каждый из них – на вес золота. Ну, а контролировать жизнь и ее производственные процессы несложно. Приезжаешь в город, узнаешь, какие заводы и фабрики есть, что выпускают. Потом идешь прямо туда, говоришь им: «Я – народный контролер» – и требуешь предъявить изделия для проверки качества. Вот, собственно, и все. Ну, там, где качество трудно проверить, – так ты на глазок, а если сомнения, то берешь то, в чем сомневаешься, и сюда везешь...

– А как же? – не понял Павел.

– Чуть позже я тебе объясню! – успокоил его хозяин кабинета. – А пока скажу, что выпал тебе нелегкий район действий, так сказать. Северные места... И условия там, конечно, прибрежные к боевым. А может, ты не хочешь? Ты скажи! Может, ты не готов к этому?

– Да нет, готов! – заверил товарища Калинина Павел.

– Ну, а может вопросы есть? – поинтересовался хозяин кабинета.

– Есть, – признался Добрынин. – Насчет служебной жены... Как-то... неловко...

– Ну, брат, это надо, – понимающе закивал товарищ Калинин. – Мне и самому трудно, у меня ведь тоже и моя, венчались еще до семнадцатого, и служебная... Что поделаешь, такой порядок. Я ведь из Твери сам, жена с детьми там осталась, а здесь служебную получил. Правило такое – кто не из Москвы, тот здесь жену получает, так сказать, номенклатурную. Да ты не бойся, они у нас проверенные и пользуются полным доверием, а если что, не стесняйся, говори, и мы заменим...

– Ну, раз порядок... – развел руками Павел.

– А может, еще что-нибудь волнует? Может, о своей семье думаешь?! Так ты не беспокойся, они у нас будут под партийной заботой. Так что все в порядке, как видишь... Ну и теперь самое важное. Решил я тебе, Павел, подарок сделать... Непростой подарок... – Товарищ Калинин испытующе посмотрел в глаза народному контролеру. – Такой подарок, за который многие полжизни отдали бы. В общем, коня белого дарю тебе.

И, тяжело вздохнув, товарищ Калинин на некоторое время замолчал, то ли обдумывая что-то, то ли погружаясь в воспоминания.

А Павел слушал возникшую тишину и думал. Думал о том, что не случайно, должно быть, его выбрали, и не из-за желания избавиться от честного и правдивого человека. А были, видимо, на то особые причины, о которых он если и узнает, то очень не скоро.

За окном вечерело, и, несмотря на то, что рядом жил своей бурной жизнью большущий город, было тихо и спокойно. И, может быть, даже спокойнее, чем в это же время в деревне Крошкино, где с наступлением первых сумерек осмелевшие из-за своей невидности дворовые собаки начинали переговариваться-передаваться, рассказывая друг другу, кто из них какого размера кость получил, и так этот лай стоял бы до полуночи, пока осовевшие от него хозяева не обругали бы свою псину последними словами, после которых в дело уже мог бы пойти деревянный колок, и собаки, конечно знавшие об этом, замолкали, уткнув свои носы в теплую землю.

Товарищ Калинин вдруг очнулся, обошел свой письменный стол и вытащил из его ящика книжечку, которую тут же протянул Павлу.

«Детям о Ленине», – прочитал Павел название и посмотрел на обложку, где великий вождь был изображен на скамейке, окруженный гурьбой ребятишек.

– Ты не смотри, что название такое, – сказал уже уставшим голосом хозяин кабинета. – Эта книга тебе очень пригодится! Она, в общем-то, не только для детей. Ну вот, я тебе вроде все сказал. Завтра днем на аэродроме тебе седло передадут. А сейчас поезжай домой, отдохни...

– А как же белый конь? – негромко спросил Павел и тут же смутился из-за наглости своего вопроса.

– Конь? – повторил товарищ Калинин. – Коня тоже привезут на аэродром. Он здесь, в кремлевских конюшнях. Хорошо?

Почувствовал тут Павел в себе наличие такого желания, о котором не сказать товарищу Калинин у он не сможет. Но и как сказать – он не знал, потому как второго наглого вопроса задавать не хотелось.

– Ну что молчишь? Вижу, что о чем-то просить хочешь? – проницательно подметил хозяин кабинета.

– Да я... вот...

– Ну говори, не давай!

– Хотел бы, товарищ Калинин...

– Да называй ты меня по имени, мы теперь равные!

– Ну... хотел бы я, Михаил, на этом коне от Кремля до аэродрома проскакать...

– Да-а... – сказал товарищ Калинин. – Желанье, я тебе скажу!

– Но это если можно, а если нельзя, то...

– Сейчас! – остановил Павла хозяин кабинета и подошел к телефону. – Эй, Вася! – сказал он кому-то. – На завтра эскорт свободен? Да? Хорошо. Тогда прикажи, чтобы к двенадцати был готов у Спасских ворот! – Ну вот, – опустив трубку, товарищ Калинин посмотрел на народного контролера. – Порядок. Будет тебе конный проход!

– Спасибо! – глаза у Павла загорелись, и он едва сдержал свой порыв обнять товарища Калинина и расцеловать его.

– Потом спасибо скажешь! Главное – Родину люби и делай все для ее блага! Ну все, иди! Нет, постой, скажи-ка мне, зачем топор с собой принес?

– Жена в дорогу дала, – объяснил Павел, поднимаясь из-за стола.

– Вот так да! – усмехнулся хозяин кабинета. – Молодец жена! Правильно дала! Тут жизнь такая... да...

За дверью в коридоре стоял красноармеец, который и проводил Добрынина вниз к автомобилю. Виктора Степановича в машине не было. Только шофер сидел, сонный и молчаливый. Ни слова не сказал за всю дорогу. Лишь когда остановил машину у подъезда, напомнил, что квартира у Павла под третьим номером.

Дежурный дворник открыл Павлу двери в парадное. Добрынин поднялся на третий этаж, вспомнил про ключ, врученный ему дворником. Нашел его в кармане брюк и отпер двери. Котомку оставил в прихожей, а книгу «Детям о Ленине» взял с собой и прошел в кабинет.

Включил лампу с зеленым абажуром, и так уютно стало в этой самой человеческой комнате квартиры. А тишина, она была непоколебима и настраивала на серьезные мысли. И, усевшись за письменный стол, открыл Павел перед собой первую страницу подаренной в Кремле книжки. Открыл и стал читать.

Прочитав первый рассказ о Ленине, Павел решил на этом пока и остановиться, тем более что захотелось подумать немного о смысле и морали этого рассказа. Речь в нем шла о том, как однажды Ленин попал в дом поморских рыбаков одной северной народности. Пришел он туда как гость, и тут же хозяева накрыли на стол и стали угощать Владимира Ильича их национальным супом, который, конечно, для европейского человека показался очень невкусным. Но ничего не сказал им об этом Ленин, а только поблагодарил за угощение. А они, решив, что суп Ленину очень понравился, предложили еще, короче – добавки ему дали. И тут Ленин ничего не сказал, и все съел, как учили его родители еще в далеком Симбирске – повлияло, конечно, воспитание, «общество чистых тарелок» семьи Ульяновых, но и не только это.

«Да, – подумал напоследок Павел. – Не зря мне эту книгу подарили. Сказали же, что на Север пошлют... Значит надо уважать национальные супы и другую еду...»

Усталость замедлила процесс мышления, и Павел почувствовал, что засыпает. Но спать сидя не хотелось, и он, оставив свою одежду в кабинете, пошел в спальню. Зашел, закрыл за собой дверь и постоял пару минут, привыкая к темноте. Большой белый квадрат кровати быстро рассеивал ночной мрак, и очень скоро Павел разобрал, что его служебная жена занимает ближний к нему край.

А разобрав это, он обошел кровать и лег с другого края, оставив между собою и женою не менее метра. Накрылся краем одеяла, ощутил ватное тепло, окутывавшее его, и заснул, улыбкою прощаясь с уходившим в прошлое таким удивительным до сказочности днем.

Глава 8

Звонок с седьмого урока в московской школе, что была в Даевом переулке на Сретенке, прозвенел минут на пять раньше обычного, и буквально через минуту двери классов раскрылись, и в широкий и светлый коридор организованно вышли мальчики и девочки в аккуратно повязанных на белые сорочки алых галстуках. Вышли и быстро построились поотрядно, как и полагается в таких случаях. Директор школы Василий Васильевич Банов прошел вдоль пионерских шеренг, строгим взглядом оценивая внешний вид учащихся, потом вернулся на середину коридора, выслушал рапорты о готовности классных отрядов к линейке и сказал:

– Ну что, по учебе и другим показателям за прошедшую неделю первое место занял пионерский отряд пятого-А класса, и за это отряд премируется сегодня встречей с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР Сильным Григорием Маркеловичем.

Пионеры стояли, затаив дыхание. Их взгляды были прикованы к директору школы. Директор был одет в темный костюм, сидевший, однако, на нем несколько неуклюже, а на лацкане горел звездой орден Красного Знамени, на который то и дело «сползал» взгляд мальчишек, взгляд, полный зависти и восхищения.

– Ну что, – продолжал Василий Васильевич Банов. – Я понимаю, что было бы несправедливо полностью лишать остальные отряды встречи с кандидатом в депутаты, но в любом деле надо проявлять и твердость! Поэтому предлагаю каждому отряду делегировать на встречу по три лучших пионера, которые потом смогут доложить обо всем услышанном своим отрядам. Все, можно разойтись. А отряду пятого-А класса приказываю собраться в полном составе в красном уголке школы ровно через двадцать минут.

Пионеры разошлись по своим классам для открытого голосования по делегатам на встречу. Только пятый-А – двадцать восемь мальчишек и девчонок, сплоченных в один живой коллективный организм, вышли дружно на улицу поглазеть на проезжающие иногда грузовики. Петя Кольцов, их пионерский вожак, обязал Ваню Климчака быть ответственным за время, потому что у Вани были единственные на весь класс часы.

В Даевом переулке было тихо и грузовики не ездили. Девчонки собрались отдельно в кружок и принялись что-то обсуждать, а мальчишки стояли по двое – по трое, изредка перебрасываясь не очень важными словами.

И вдруг тихо подошла машина – черный «ЗИМ», – остановилась у входа в школу, и из нее вышел высокий коротко остриженный мужчина с кожаной черной документной папкой в руках. Он поправил воротник рубашки, дотронулся рукой до узла галстука, проверяя свою опрятность, потом поднялся на школьный порог.

Красный уголок, а располагался он в самом конце коридора, размером был чуть больше обычной классной комнаты, но всегда отличался завидной чистотой. Каждый учебный день по заведенному графику в нем убрали два человека, убрали на совесть. В графике значились не только ученики, но и учителя, включая директора школы. Во время этих уборок дежурные мыли пол, протирали углы, снимали со стен стенгазеты и прочие политические материалы и аккуратно вытирали с них пыль. Вот и в этот день красный уголок просто блестел. Пятый-А уже сидел на лучших местах, а в задние ряды стульев проходили делегаты от других пионерских отрядов.

Кому-то не хватило места, и догадливые мальчишки и девчонки составили стулья по два вместе и усаживались на них втроем.

Открылась дверь, и в уголок вошли директор и кандидат в депутаты. Вся ребятня встала и застыла торжественно.

– Здравствуйте, товарищи пионеры! – кандидат в депутаты кивнул ребятам и глянул на директора.

– Садитесь! – сказал директор.

– Смотри, какая у него родинка на щеке! – прошептала одна девочка-пионерка своей подруге.

– Да... – закивала вторая. – Так похож на полярника Шишова!

– А ты что, его видела? – удивилась первая.

– Ага, в газете...

И вдруг, поймав на себе директорский взгляд, девочка запнулась и покраснела.

– В газете? – шепотом переспросила ее подруга, но вместо ответа получила легкий шлепок ладошкой по коленке.

– Ну что, – снова заговорил директор, оглядывая внимательные лица собравшихся ребят. – Разрешите представить вам кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР, директора прославленного завода «Серп и молот» Григория Маркеловича Сильина. Вы можете задать ему вопросы... ну и поговорить... Пожалуйста!

Директор вышел из комнаты, а кандидат в депутаты опустил на поставленный для него стул. Казалось, кандидат волнуется. По крайней мере, чувствовал он себя неловко, жевал свои толстые губы, словно обдумывал возможные ответы.

В первом ряду поднялась рука, и Григорий Маркелович кивнул низкорослому мальчишке, желавшему задать вопрос.

– Товарищ кандидат, расскажите о вашем детстве! – попросил мальчишка.

Сильин перестал жевать губы, поднес правую руку к лицу и в раздумье дотронулся пальцем до родинки на щеке.

– Ну, такого детства, как у вас, у меня, конечно, не было, – стал рассказывать кандидат в депутаты. – Родился я в деревне Панино Московской губернии. Сейчас это – Можайского района. В крестьянской семье. Отец был печником, и меня учил этому делу. Умер он рано, мне тогда пятнадцать лет было. Ну, пока он не умер, ездили мы с ним и с братом мамы по Подмосковию, на дачах печи клали, а как умер он, так и остановилась работа. Хорошо, что родственник мой устроил меня в техническую контору Гиллерта, была она тогда на Басманной. Стал я там учеником печника. Положили мне жалованья восемнадцать рублей в месяц на своих харчах... Вот такое детство было...

– А расскажите нам, пожалуйста, как жили рабочие-печники при старом грабительском строе! – попросила курносая девочка из первого ряда.

– Ну, как жили? – сам себя спросил кандидат в депутаты. – По утрам я пил кипяток без чая с булкой, в обед съедал фунта полтора ситного хлеба, обязательно черствого – он и стоил дешевле, и уходило его меньше. Вечером, когда уже и спину не разогнешь от усталости, забредешь в грязную харчевню, возьмешь там постных щей да каши. Вот, так сказать, рацион рабочего. Только по воскресеньям я в виде роскоши разрешал себе... не мясо, нет!., фунт свежего ситного хлеба из крупчатки. Ведь был я еще мальчиком, и ой как хотелось чего-нибудь вкусного и хорошего. Что и говорить, страшная была жизнь. По воскресеньям десятник заставлял ходить в церковь, а вечером читать себе вслух газету «Русское слово». Иногда он уходил с друзьями в чайную, заказывал там чаю – пять копеек пара чая, и играл в карты, в любимого козла. Хорошо еще, что десятник непьющим был и меня приучал к трезвости. Остальные все пили, – да и как не запить от такой жизни!

В комнату тихонько протиснулись две старушки-учительницы и притаились, встав под стенкой и вслушиваясь в рассказ Сильина.

Снова поднялась детская ручонка – в этот раз в третьем ряду с правой стороны, у окна.

– Пожалуйста-пожалуйста! – подбодрил кандидат в депутаты пионера, увидеть лицо которого он никак не мог – настолько тот был мал.

Мальчишка поднялся и как бы растерялся из-за того, что все на него обернулись.

– Ну, говори! – по-дружески улыбнулся ему Сильин.

– А... а вы на фронте были? – наконец спросил маленький пионер.

– Конечно, был, – Григорий Маркелович кивнул. – И в Первую мировую, но больше в Красной Армии. И скажу вам, что Красная Армия – это целый университет. Мы часто останавливались в бывших помещичьих имениях. И первым долгом искали библиотеку. Во время гражданской войны я успел прочитать почти всех классиков. А в зарядном ящике я всегда возил с собою две-три еще не прочитанных книги...

В комнату просочились тихонько еще три учителя: один старик-географ и двое двадцатилетних парней-физкультурников. Они попросили старушек-учительниц продвинуться дальше и сами заняли их места под стеной.

– Про завод расскажите! – попросил кто-то, даже не подняв руки.

Но кандидат в депутаты не обратил внимания на нарушение пионерского этикета.

– Про завод? – переспросил он и тут же стал рассказывать. – Ну, завод «Серп и молот» раньше звался заводом Гужона... Пришел я на него в двадцать первом после демобилизации. Напоминал он тогда кладбище – так тихо и заброшено все было. Типичная картина для заводов того времени: оборудование ржавело и портилось, работа производилась только в подсобных мастерских. То была пора «зажигалок», как принято говорить. Рабочие делали зажигалки, спичек ведь в то время всеобщей разрухи почти не было! Делали и другие ходкие товары, которые можно было выменять у крестьян на хлеб и картошку. В мартеновском цеху «Серпа и молота», куда я попал, работала только одна четырехтонная печь. То, что она действовала, представлялось чудом. Мне, пришедшему из Красной Армии и привыкшему к дисциплине и порядку, казалось диким то, что я увидел в цеху. Рабочие относились к заводу потребительски, чтоб не сказать хищнически. Производили топоры, шинное железо и еще что-то, что можно было менять на продукты. Железо расхищалось и уносилось за ворота. Сплошная масса состояла из одних шкурников и обывателей. Но на заводе оставалось немало и честных, сознательных рабочих. Группа таких товарищей устраивала на заводе засады и ловила шкурников, когда те таскали заводское железо. Ну вот еще несколько цифр, показывающих рост нашего завода.

И Сильин открыл черную кожаную документную папку, покоившуюся до того момента у него на коленях, достал оттуда листок бумаги и прочитал вслух: «В 1921 году на заводе работала одна печь, в лучшие дни она плавila 20 тонн в сутки, и это считалось хорошо. А сейчас у нас четыре новых печи, и дают они 750 тонн стали в сутки, и зарегистрирован уже рекорд – 948 тонн стали в сутки».

– Что еще сказать? – Сильин отвлекся от листка бумаги. – Тогда, в двадцать первом, завод выпускал проволоку на гвозди, костыли, шинное и другое так называемое «торговое железо», а теперь мы плавим высококачественную сталь, идущую на укрепление обороноспособности республики. Но мне кажется, что это еще не все, что можно сделать. Надо – еще и еще вперед!

Закончив отвечать на последний вопрос, кандидат в депутаты вздохнул и посмотрел на свои ручные часы, потом перевел взгляд на пионеров. Увидел сразу три поднятых руки: двух мальчиков и девочки, желавших о чем-то спросить. Кивнул девочке, она встала, спросила:

– А как вы стали директором завода?

– Ну, для этого надо учиться, учиться и учиться... – Сильин развел руками. – Вот я и учился в вечерней рабочей школе, потом был мастером, в начале двадцать седьмого меня выбрали членом завкома. А в двадцать девятом, помню, случилась серьезная авария недавно отремонтированной мартеновской печи. Неожиданно обвалилась часть свода над камерами регенераторов. А это очень тесное и, главное, необычайно горячее место, залезть туда невозможно. Все потеряли голову. Останавливать печь на ремонт бессмысленно, продолжать работать – нельзя. Авария грозила выходом печи из строя на месяц – а это четыре с половиной тысячи тонн стали! Прибежал начальник цеха. Я предложил, несмотря на высокую температуру свода, пролезть туда, подвесить листы и заделать пробоины. Ничего подобного в нашей практике не было, и, однако, я настаивал на том, что после подвески листов температура в своде

снизится. Действительно, как только листы были подвешены, стало прохладнее, и я заделал дыру по своему способу. Печь могла продолжать нормально работать. Этот случай выдвинул меня в ряды лучших печников страны... Ну и много похожего было... Я извиняюсь, товарищи пионеры, но, к сожалению, у меня еще сегодня две встречи с избирателями...

Григорий Маркелович Сильин поднялся. Пионеры тоже вскочили на ноги и долго хлопали, отбивая до красноты ладошки. Хлопали и две старушки-учительницы, и те учителя, что подошли под конец встречи.

На прощанье пионерский отряд пятого-А подарил кандидату в депутаты сувенирный отбойный молоток, который оказался довольно-таки тяжелым, несмотря на свой малый размер. Так, неся сувенир в левой руке, а документную папку в правой, Григорий Маркелович покинул красный уголок, зашел попрощаться к директору школы, но кабинет директора был закрыт, а посему направился кандидат в депутаты прямо на улицу, где ждала его казенная машина – черный «ЗИМ».

Василий Васильевич Банов сидел в это время на крыше трехэтажного здания школы и с грустью глядел, как между школой и далекой, но все еще видимой одной из башен Кремля медленно, но неумолимо поднималась громада строящегося высотного здания. Уже сейчас от той далекой башни виден был лишь кончик с рубиновой звездой, а уже следующий этаж новостройки скроет из виду эту звезду навсегда. Конечно, директор школы очень переживал по этому поводу. Была у него привычка два раза в году после принятия своих сорванцов в пионеры вытаскивать их сюда на крышу и показывать им видневшуюся часть Кремля. Теперь эта привычка должна была умереть, ведь больше ничего интересного с крыши школы видно не было. Ну разве что заход солнца за далекие дома, но этого пионерам не покажешь, ведь происходит заход солнца всегда в вечернее время, когда подопечные Банова сидят по домам и готовят домашние задания, так что останется ему, директору школы, забираться иногда на эту так любимую крышу в одиночестве и ждать иногда потрясающе красивого кроваво-красного заката. Из-за грустных раздумий вспомнилось Банову его славное революционное прошлое, в котором был он настоящим пулеметчиком и тоже страсть как любил крыши и колокольни, с которых открывался невероятный обзор. Да, в те времена был и обзор у Банова, и пулемет, и все было проще и понятнее, хотя и сейчас ничего особенно непонятного директору школы не встречалось, но то ли из-за того, что те времена пришлось на яростную юность Василия Васильевича, а в нынешнее время он и чувствовал себя неважно по причине нездоровья, и путался в жизни часто из-за ее непомерной усложненности и перегруженности различными победами, но в общем радовался жизни он все меньше и реже. Видимо, как ни крути, приближалась старость, приближалась медленно, но неумолимо, будто знала она, что нет больше у него пулемета, и поэтому совсем его не боялась и иногда даже показывала свое обличье в маленьком прямоугольном зеркале с отбитым уголком, прислоненном к обратной стороне поломанного будильника, стоявшего извечно на столе в его тесной комнатухе, самой маленькой в той коммунальной квартире, что занял он полностью еще тогда, когда был у него родной «максим», а уже потом, когда не стало «максима», заняли и другие жилыцы, сначала потеснив, а после уже и притеснив его достаточно, словно был он кем-то малозначительным и на этой земле ненужным.

Бросив печальный взгляд вниз, увидел директор отъезжающий от порога школы «ЗИМ» и понял, что закончилась встреча с кандидатом в депутаты. А раз закончилась, то разойдутся скоро и ученики, и учителя, и тогда надо будет закрывать школу до понедельника, но перед этим посидит Банов в пустой школе в своем кабинете, посидит, попьет чайку и посмотрит еще не раз в глаза портрета Дзержинского, висящего над его столом. Посмотрит пристально и строго, и будет думать об этом железном Феликсе, думать много и думать разное, потому что рассказал однажды Банову покойный ныне товарищ много нехорошего про этого рыцаря революции, и, не зная, что из того было правдой, а что не было, да уже и не в состоянии узнать,

будет оставаться Банов в своем кабинете, в пустой школе, и часто смотреть вопросительным взглядом в глаза портрету, словно ожидая от того каких-либо разъяснений.

* * *

– Замучали они меня своей любознательностью! – жаловался Сильин шоферу по дороге. – Расскажите о своем детстве, о своем заводе!

Благо дорога была короткая. Заехали сначала на завод, где Григорий Маркелович удостоверился в том, что все в порядке, после чего снова сел в «ЗИМ», и повез его шофер на улицу Желябова, где в семиэтажном доме жил кандидат в депутаты.

– Подожди здесь, мы через пять минут спустимся! – сказал Сильин, выходя из автомобиля.

Дежурный дворник чуть старомодно поклонился, открывая перед директором завода двери парадного.

– Жена дома? – поинтересовался Сильин на ходу у дворника.

– Должно быть, не выходила... – ответил дворник.

Спешно зашел в квартиру и прямо в гостиную прошел, не сняв туфли. Тут же и остановился, недоуменно выпучив глаза на жену, стоявшую перед раскрытым шкафом, где висел арсенал ее платьев. Сама же она была одета в длинный халат зеленого цвета.

– Ты еще не готова?! – полуспросил-полувозмутился Григорий Маркелович. – Ты на часы глядела?

– Ой, Гриша, я еще не решила, в чем идти! – с досадой на лице ответила жена, выразительно махнув при этом рукой. – Дай мне еще пять минут.

– Ладно! – бросил Сильин и прошел в свой кабинет.

На левом крыле его большого письменного стола лежала толстая пачка одинаковых книжек. Сильин взял одну из них и положил ее в свою черную кожаную документную папку. Присел в кресло, подумал о чем-то, глянул на свои часы и тут же вскочил и вернулся в гостиную.

Жена была уже одета. Длинное платье темно-изумрудного цвета, украшенное большой брошью-ящерицей, изящно подчеркивало ее чуть полноватую фигуру.

– Гриша, я не могу свои духи найти. Ты не видел?

Григорий Маркелович пожал плечами.

– Я же не спрашиваю тебя, куда подевался мой одеколон! – ответил он и тут же насторожился, услышав шум, доносившийся из комнаты жены.

– Это Клава, домработница! – объяснила жена.

– А разве у нее не выходной?

– Я попросила ее сегодня прийти, а выходной у нее будет в понедельник.

– Ну так у нее и спроси про духи, может, она их видела! – уже более дружелюбно посоветовал Григорий Маркелович.

Жена позвала Клаву. Та зашла в гостиную со щеткой для чистки ковров в руке – старая, сгорбленная, седая старушка, уже пятнадцать лет проработавшая у них.

– Да сын ваш унес куда! – ответила она на вопрос о духах и одеколоне. – Барышне какой подарил, может быть, вы ж ему денег не даете, а подарки нынче сами знаете почему.

Сильин подумал и согласился с предположениями домработницы Клавы. И тут же снова заторопился, случайно попав взглядом на настенные часы.

– Ну, Полечка, – взмолился он. – Мы же катастрофически опаздываем, прямо авария какая-то с тобой!

– Ну, пошли-пошли! – Поля выскочила в коридор, нагнулась, чтобы отыскать или выбрать туфельки, а муж уже открыл двери на площадку и, держа их открытыми, стоял и ждал, подгоняя жену взглядом.

Наконец спустились и сели в машину.

– Я же обещал там быть в полпятого! – повторял жене Сильин и смотрел недовольно на свои часы, упрямо показывавшие пять минут шестого. – А еще ехать!

– Да через десять минут будем, Григорий Маркелович! – попробовал успокоить его шофер.

Сильин замолчал.

Так и промчались те десять минут, что были они в дороге.

Остановилась машина у ресторана «Столица».

Ничего не сказав шоферу, Сильин выбрался из «ЗИМа», подал жене руку. Поднялись по ступенькам и оказались в фойе, посреди которого росла пальма с листьями-пятиконниками. Слева за темным деревянным барьерчиком виднелся пустой гардероб – ненужный в такое теплое время.

Отдышавшись, Сильин подошел ко входу в зал, нашел взглядом метрдотеля, поманил его пальцем.

– Слушаю вас? – вкрадчиво спросил тот, приблизившись.

– Я заказывал банкетный стол на шесть персон на фамилию Сильина.

– Секундочку... – метрдотель, кругленький и в то же время каким-то странным образом стройный мужчина с тонкими, словно нарисованными усиками, вытащил из кармана блокнот и, полистав его, остановился на одной испещренной мелким почерком страничке. – Сильин, шесть персон, есть, пойдемте, я вам покажу стол!

И метрдотель чуть семенящей походкой увлек за собою в зал Сильина и его супругу.

Необычный, чуть вытянутый восьмигранный стол располагался в самом тенистом уголке ресторанного зала. Отделен он был тремя кадками с молодыми финиковыми пальмами, которые в это время были в Москве чрезвычайно модными.

– Вот, видите, – говорил-пел метрдотель, остановившись у стола. – Сервировочка уже в порядке. Проверим заказанное меню! А вы присаживайтесь, присаживайтесь!

И метрдотель услужливо усадил пришедшую пару, потом снова заглянул в свой блокнот.

– Так... – он сделал паузу, потом стал читать. – Закуски холодные: салат картофельный с крабами, маслины, правильно?

Григорий Маркелович кивнул.

– Продолжим. Горячие закуски: судак орли, почки, жаренные в масле... вот тут, во вторых блюдах замена, к сожалению... вы заказывали кижуча отварного, но, к сожалению... кижуч не очень хорошего качества, и я рекомендую вам взять муксуна жареного с картофельными крокетами вместо гарнира... а?

Григорий Маркелович пожал плечами, повернулся к жене.

– Хорошо, – мягко произнесла Поля, которой не хотелось надолго оставлять метрдотеля в неудобном положении.

– Отлично, – обрадовался метрдотель. – Из супов три солянки сборных мясных по-ленинградски, два супа картофельных с осетриной и одна похлебка по-суворовски с расстегаями, это для вас, наверно?

Григорий Маркелович кивнул метрдотелю, и тот, удовлетворив свое скромное любопытство, продолжил:

– ...и десерт – кофе по-варшавски и мороженое «Октябрь»...

– Это мороженое с орехами? – вдруг оживилась Поля.

– Да, с орехами, малиново-земляничным сиропом и ломтиками ананаса, – отвечал метрдотель, глядя в зеленые глаза спросившей и в мыслях восхищаясь ее хорошим вкусом – темно-изумрудное платье так неимоверно хорошо подходило к ее глазам.

– Все правильно? – метрдотель с трудом перевел свой взгляд на мужчину с такой интеллигентной родинкой на щеке.

– Да, – твердо ответил Сильин.

Метрдотель, вежливо кивнув, отошел от стола. В ресторане было пусто, но объяснялось это довольно легко – время еще не подошло для обычно поздних застолий. Сильин глянул на часы, потом ожидающе посмотрел на двери, ведущие в ресторанный зал, и тут же лицо его оживилось, потому что увидел он там тех, кого нетерпеливо ждал: своего давнишнего приятеля, директора мебельной фабрики «Красное дерево» с женой Женечкой и партсека своего завода Поливанова со своей «вечной» невестой Соней. Стоя в широком проеме дверей, они искали его взглядом, но из-за этой пальмовой «засады» не могли увидеть. Сильин поднялся и заторопился к ним, и тут уж они его заметили, заулыбались радостно, пошли навстречу.

Когда расселись за столом, Сильин облегченно вздохнул.

– Ну... – желая начать разговор, но как-то еще не сообразив, с чего начать, заговорил Григорий Маркелович. – А мы думали, что опоздали... а пришли первыми...

– Да уж извини, сам знаешь, какая наша жизнь, – забасил директор «Красного дерева» Эдуард Бекетов. – Я уже и сам готов был, а тут Женечка что-то потеряла, вот, – он оглянулся на жену, – пришлось ждать.

Сильин улыбнулся и бросил чуть едковатый взгляд на свою супругу.

К столу подбежал метрдотель.

– Ой, извините, не заметил! – лицо его выражало искреннюю растерянность. – Сейчас, секундочку, – он еще раз окинул внимательным взглядом сервировку стола и всплеснул руками, сам себя спросив озадаченно: – А где же мадерные рюмочки?!

И тут же перевел взгляд на Сильина.

– Дамы ведь мадеру будут, а... вы – водочку? Две «Кубанских» и две «Перцовки»? Да?

– Да-да! – радостно выдохнул партсек Поливанов. – С водочки и начинать полагается...

Метрдотель исчез и тут же появился с подносом, составил на стол открытые графины – один из синего стекла, второй – хрустальный.

– В синем – «Кубанская», а вот здесь «Перцовочка», – объяснял он, не глядя опуская пустой поднос на стоящий в стороне подсобный столик. Тут же в его руках появилась бутылка мадеры, он нежными жестами, какими-то замысловатыми просовываниями руки с бутылкой наполнил рюмочки дам, потом налил мужчинам водки – какой кто желал. И вновь исчез.

– Ну, кандидат, – заговорил Бекетов, поднимая рюмку. – За твою победу на выборах! Будешь нас в Верховном Совете представлять!

Дружно чокнулись, выпили, поискали глазами закуску.

– Вот-вот, все уже тут... – отвечая на немой вопрос в глазах посетителей, затараторил метрдотель, составляя с подноса на стол маленькие тарелочки, салаты, розеточки с маслинами.

Так и не выдохнув после выпитой водки, принялись гости закусывать, приятно давясь картофельным салатом и особенно радуясь, выловив в нем кусочек крабной палочки.

Завязался разговор, который время от времени возвращался к кандидатуре Сильина, после чего каждый раз рюмочки наполнялись снова, но тосты уже не касались этой темы и были все разнообразнее и разнообразнее.

– А я вот и вспоминал недавно, как мы вместе работали, – заговорил Бекетов, серьезно глядя в глаза Григорию Маркеловичу. – Ты же помнишь, Гриша... Ту аварию помнишь?

Сильин погрустнел. Не хотелось в этот славный день вспоминать о трудных буднях из прошлого. Конечно, он помнил ту аварию. Тогда в камере прогорел столб, через который подается горячий воздух. Получился обвал. Ох и много тогда пришлось повозиться и понервничать, и только правильное решение Сильина да поддержка начальника цеха Королева спасли положение. Бекетов был тогда партсеком цеха и обещал полную поддержку партийного комитета – он тоже верил в идею Сильина отключить камеру горячего воздуха и наполнить ее водой на несколько часов, чтобы потом, когда она уже остынет, отремонтировать, что называется, «на ходу». «Да, – подумал Сильин, – это было трудное время...»

Принесли супы. Разговор затих. А на эстраде появился маленький оркестрик – человек пять. Ресторан постепенно наполнялся посетителями, обрывки разговоров носились в воздухе, добавляя в атмосферу вечера чьи-то проблемы и радости. Рядом, за пальмами, группа кондитеров с семьями отмечала юбилей своей фабрики. Они то и дело произносили какие-то свои профессиональные слова, и из-за этого Поле, сидевшей к ним спиной, казалось, что и воздух, которым она дышала, и суп картофельный с осетриной, который ела, были сладковатыми, словно все вокруг было покрыто незаметным слоем мельчайшей ванили.

«Вечная» невеста Поливанова, учительница одной из вечерних школ, одновременно с поеданием супа умудрялась поворачивать голову в полупрофиль то влево, то вправо, желая таким образом показать своим соседкам новенькие золотые серьги с крупными каплевидными рубинами. Это немного раздражало Полю, но виду она не подавала и даже как будто не замечала сережек Сонечки.

Снова появился метрдотель, самолично наполнил рюмочки, потом наклонился к Сильину и прошептал:

– Извините, конечно, это ваш портрет вчера в «Правде» опубликовали? Тут у одного официанта газета на работе...

– Да, мой, – не шепотом, но негромко ответил Григорий Маркелович.

Метрдотель, стоя сбоку от кандидата, облизывал губы, словно обдумывал следующий вопрос. Но тут на эстраде появился низенький мужчина в лакированных туфлях, черных брюках и смокинге.

– Прошу минуту внимания! – громко произнес он тонковатым голосом, приподняв выше обычного подбородок и оглядывая зал.

Стало тихо, и в этой тишине мужчина, привлечший общее внимание, хлопнул в ладоши, и девчонкоподобная женщина в цирковом наряде, видимо его ассистентка, вынесла на эстраду клетку с большим сине-зеленым попугаем.

– Вот! – громко выкрикнул мужчина, открывая дверцу клетки. Попугай выбрался, уцепился когтями за руку мужчины и закрутил клювом по сторонам.

– Вот! – повторил мужчина. – На удивление всем образованнейшая птица для вас... Ну, прочти, Кузьма, что ты для нас выучил!

Посетители ресторана дружно рассмеялись, захлопали. Мужчина в смокинге поклонился и заставил поклониться своего попугая, потом сошел с эстрады и исчез в коридорчике, из которого то и дело «выныривали» опрятные официанты с заставленными едою подносами в руках.

Сильин обернулся, вспомнив о стоявшем за спиной метрдотеле, но того уже не было рядом.

Бекетов снова разливал водку, о дамах он как-то не сообразил позаботиться, и Григорий Маркелович решил исправить ошибку.

– Ай-яй-яй, Эдя, – шутливо погрозил он товарищу пальцем, – что это ты все нам да нам, а про прекрасный пол забыл!

Эдя, уже чуть захмелевший, протянул было левую руку к мадере, но Сильин проворно рывком взял бутылку со стола и сам стал проявлять хороший тон.

Поливанов, доев своего муксуна, потянулся вилок к маслинкам.

– Роберт Анатольевич, – зашептала ему Соня, – вы больше не пейте, вам же нельзя!

Поливанов кивнул, разжевал маслинку и опустил губами косточку на уже пустую тарелку.

Вскоре произошла очередная смена блюд. На эстраде что-то легкое заиграл оркестрик.

– Ну а какие у тебя последние рекорды? – спросил Бекетов у Сильина, держа в руках рюмочку с водкой.

– 948 тонн в сутки, – ответил Григорий Маркелович.

– Ну, давай тогда за рекорды! – предложил директор «Красного дерева».

Тост поддержали и Поля, и Поливанов, хотя Соня и дергала его за рукав, и из-за этого он чуть не разлил свою водку.

– За рекорды! – повторил партсек и, с трудом выдохнув воздух, выпил.

– А полторы тысячи тонн в сутки дать можешь? – Бекетов азартно уставился в глаза Сильину. – Такой рекорд слабо?

Сильин словно протрезвел. Лицо его стало серьезным.

– Думаю, что можно, – сказал он уверенно.

– Не-е-ет... – промычал Поливанов. – На наших печах столько не дашь.

Сильин удивленно посмотрел на партсека, прищурился, все еще продолжая думать.

– А я считаю, что можно, – сказал, как отрубил, он.

– На спор! – предложил руку директор мебельной фабрики.

– Добро, – согласился Григорий Маркелович. – Что ставишь?

– Хороший шкаф, бочку икры и ящик грузинского коньяка.

– Идет, – согласился кандидат и сжал что было силы ладонь Бекетова, потом попросил Поливанова перебить.

Поливанов перебил руки, но сам замотал головой и сказал, нечетко произнося слова:

– Одной штурмовщиной этого не сделаешь...

– Эх, Роберт Анатольевич, – посмотрел на него Сильин. – Нет, чтобы поддержать своего директора. Я ведь, не подумав, ничего не говорю. Есть у меня давняя мысль: если на наших печах изолировать шиберы от холодного воздуха и колпаки поставить – сразу ход улучшится, а это что значит?!

Поливанов кивнул, показывая свое согласие.

Метрдотель принес мороженое «Октябрь» и кофе по-варшавски.

Видно, он слышал часть последнего разговора, а если точнее сказать – спор. Расставив все аккуратно, он обернулся к Сильину и сказал:

– Тут мы с товарищами-коллегами посоветовались и решили уплатить за ваш дружеский ужин десять процентов от счета... это как наша поддержка кандидата в депутаты... И еще хочу сказать, что во всякой профессии есть сложные слова и понятия. Вот вы сказали «шиберы». Я, конечно, не знаю, что это. Но и у нас есть словечки, что язык поломать можно. Вот, к примеру, кокильницы или кокотницы, или вот стакан конический... А ведь это еще не названия блюд, там, в блюдах, такие названия есть, что почище ваших «шиберов»...

– Да вы присядьте к нам, поговорим, может, выпьете с нами, товарищ метрдотель! – обратился к работнику ресторана Бекетов. – Очень просим.

– Ну, если товарищем назвали, то не присесть нельзя, – кивнул метрдотель, приставил еще один стул и присел рядом с кандидатом в депутаты.

Поговорили они еще с полчаса, время от времени опрокидывая в рот рюмочки. Потом допили женскую мадеру, потому что дамы уже пили кофе.

Тут кстати Соня и спросила:

– Товарищ метрдотель, а почему кофе называется «по-варшавски»? Это просто так, для красоты?

– Что вы, что вы! – не согласился метрдотель. – Кофе по-варшавски готовят на топленом молоке с добавлением сахара, а поверх него еще кладут молочную пенку. Вы не думайте, что это, мол, все одно и то же, а только названия разные. Кофе как угодно делать можно. Вот и кофе по-венски есть, кофе по-турецки... Это все разные напитки...

Ко времени закрытия ресторана дружба между метрдотелем и компанией Сильина укрепилась основательно, и метрдотель, прощаясь, требовал, чтобы больше в жизни посетители ни в один московский ресторан, кроме «Столицы», не ходили.



Сильин попросил счет написать поразборчивее, так как профсоюз обещал оплатить половину, а следовательно счет, как финансовый документ, должен был прикрепиться к какому-нибудь профсоюзному отчету.

Перед тем как выходить на улицу Григорий Маркелович со своим давнишним другом Бекетовым зашли в ресторанный туалет по понятному делу. Помыли руки, стоя перед широким во всю стену зеркалом, вытерли их висевшим тут же махровым полотенцем.

– Маркелыч, – обратился к другу Бекетов. – Я тут не хотел при других...

И он полез рукой во внутренний карман пиджака.

– Ты у меня прошлый раз... как-то видно оторвался... – и директор мебельной фабрики протянул Сильину орден Красного Знамени.

– Ну слава Богу... – Сильин чуть не опустился на корточки, почувствовав от волнения слабость в ногах. – А я уже думал: на улице потерял, и даже пионерам не сказал, что орденом меня наградили. Боялся: попросят показать... Ну спасибо, друг, огромное спасибо... Я его сейчас и нацеплю...

И кандидат в депутаты прикрепил орден к положенному месту на своем пиджаке, осмотрел себя скрупулезно в зеркале и, похлопав дружески Бекетова по плечу, сказал:

– Ну, пошли, наши дамы заждались наверно!

Выйдя на улицу, Сильин огорчился, обнаружив отсутствие «ЗИМа» и своего шофера. Ему так хотелось развезти всех по домам, но теперь, ясное дело, даже самому придется пешком идти или такси брать.

Тут же и попрощались у ресторанных дверей, пообещав друг другу созвониться в ближайшее время. Естественно, Поливанов напомнил о грядущем своем дне рождения, так что повод собраться действительно был серьезным.

Шли Сильин с Полей по пустынным, но хорошо освещенным улицам Москвы молча. Оба были уставшие и захмелевшие. Поля думала о Сониных сережках и вздыхала, понимая, что муж ее такого желания не одобрит. Сам Григорий Маркелович на ходу чертил мысленный

чертеж своей рационализаторской идеи, благодаря которой планировал он поставить новый рекорд в сталеварном деле. О споре он как-то особенно не думал, будучи уверенным в том, что выиграет его без труда, – главное, как он уже понял, это изолировать шиберы от холодного воздуха.

Где-то по параллельной улице прозвенел жизнерадостно ночной трамвай. Отвлек и Полю, и Григория Маркеловича от мыслей. Дорогу впереди пересекли два конных милиционера, находившихся в ночном патруле.

Все было обыденно и мирно. Город спал крепко, и, если взглянуть с высоты дирижабля, только фабрики и заводы непрерывного цикла, а еще пекарни и газетные типографии являли собою гнезда яркого рабочего света, не подчиняясь биологическим законам о ночном сне живых организмов.

И вдруг тонкий недобрый свист раздался в ушах у Поли, и она почувствовала, как стала невероятно тяжелой рука ее мужа под ее рукой, и, обернувшись, увидела, как оседает он на землю, закрыв другою рукою свой трудовой орден.

– Что с тобой? Что? – наклоняясь, спрашивала Поля, думая, что мужу нехорошо из-за того, что он смешал водку с мадерой. – Что, Гриша?

А Гриша уже неуклюже лежал на тротуаре, и глаза его, застыв, смотрели вверх на московское небо.

Холодный пот выступил на Полином лбу, и увидела она, как рука ее мужа соскользнула с ордена. Опустилась она на колени; ее отчаянный взгляд увидел, что в самой середке ордена – дырка, а все вокруг ордена в крови, и это черное пятно расплзается, делаясь все больше и больше...

– Товарищи! – закричала Поля. – Спасите! Люди! Товарищи! Кто-нибудь!

Она уже молчала, зажав руками рот, сдерживая себя от рвущихся наружу рыданий, но эхо ее слов еще звучало, разносясь по ночным московским улицам, и зажигался в окнах свет, кто-то уже выбегал из парадных, вглядываясь в ночь и ища в ней кого-то, зовущего на помощь.

А по той улице, на которой лежал мертвый Сильин, уже скакали на конях патрульные милиционеры.

* * *

– Нет, не герой... – с досадой думала пуля, поднимаясь над огромным городом, который под ней делался все светлее и светлее, думая, что светом своих лампочек еще сможет спасти кого-то от беды. Бедный город... На этот раз он опоздал, и приехавшей машине скорой больницы пришлось уехать тут же. Лежавшему на тротуаре человеку помочь было нечем.

Глава 9

В это осеннее утро солнце, взойдя над Кремлем, задержалось ненадолго над Спасскими воротами, где начальник правительственного мотоциклетного эскорта капитан НКВД Блинов докладывал ответрабу о готовности, задержалось и снова медленными темпами поползло на дальнейшее, а в сущности своей и бездонное, небо. Вот как раз при этом движении один из лучей солнца, преломившись о рубиновую звезду Спасской башни, попал в глаза капитану Блинову, заставив его зажмуриться, нарушив торжественность рапорта. Ответраб, а был это Виктор Степанович, бросил на светило улыбочивый взгляд и сказал: «Ярко же светит, проклятое!»

Рядом остановился черный автомобиль, из которого вышел все еще сонный Павел Александрович Добрынин, крепко сжимавший в правой руке свою котомку. Вышел, тоже посмотрел на солнце, потом на стоящие в ряд красавцы-мотоциклы. Подумал о служебной жене, оставшейся в служебной квартире, вспомнил, как тепло провожала она его в это утро, как поцеловала в щеку, как подарила в дорогу безопасную бритву, на ручке которой было выписано аккуратным металлическим почерком «Мужу от жены».

А сбоку к народному контролеру уже подводили под уздцы белого коня. Подводил его стройный красивый парень, на котором чистый синий фартук был повязан поверх сероватого комбинезона.

– Товарищ Добрынин! – обратился он к народному контролеру. – Получите коня и паспорт.

– Паспорт? Мне? – обрадовался совсем уж этого не ожидавший Павел.

– Нет... – смутился кремлевский конюх. – На коня паспорт. И он протянул народному контролеру красную книжицу размером с пол-ладони.

Павел открыл паспорт. Из этого документа он узнал, что конь у него орловской породы, зовут его Григорий и возраст у него два с половиной года. В подтверждение написанного в нижнем правом углу документа стояла жирная фиолетовая печать.

Спрятав конский паспорт в карман штанов, Павел осмотрел коня знающим взглядом и не нашел в нем ни малейшего изъяна – было похоже, что коня этого растили специально для выставки – настолько он был хорош и силен.

Между тем, время придвигалось к полудню, и маявшиеся пока без дела милиционеры эскорта то и дело посматривали на главные часы, словно хотели силой взглядов своих ускорить размеренное движение минутной стрелки.

Подошел Виктор Степанович, настойчиво попросил доверить ему котомку на время переезда, пообещав, что на аэродроме вернет ее в целости и сохранности. Отнес ее в автомобиль, после чего подал команду капитану Блинову, а капитан Блинов в свою очередь рявкнул на своих подчиненных, и они бросились к блестящим от полировки двухколесным машинам, вывели их на дорогу, построившись при этом попарно.

– Ну, товарищ Добрынин, я на машине впереди буду, – заговорил Виктор Степанович. – Дорогу вам показывать. Ехать буду медленно. А эскорт для порядка сзади поедет. Конь у вас послушный, дорога отсюда до аэродрома от транспорта очищена, так что садитесь на коня, и как двенадцать пробьет – тронемся.

Когда затих двенадцатый удар главных часов страны, процессия покинула территорию Кремля и медленно поплыла по улицам и проспектам столицы.

Показалось Павлу, что конь сам знает, куда они направляются, потому как шел он следом за автомобилем, в котором ехал Виктор Степанович, не обращая особого внимания на попытки Павла руководить его движением.

Процессия, урчащая моторами мотоциклетного эскорта, двигалась спокойно, привлекая внимание немногочисленных в этот рабочий час пешеходов, а Павел смотрел по сторонам, скользил взглядом по облицовочному граниту зданий. И в смотре этом был спокоен, пока не увидел сверкающее витринами нечто, украшенное сверху бросающейся в глаза надписью «ГАСТРОНОМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ». И огромные, широкие и прозрачные двери в этот гастроном были настежь открыты. Люди входили и выходили через эти двери. И сам народный контролер захотел было всадить правой ногой в бок коня, чтобы все-таки заставить его послушаться своего хозяина и свернуть туда, куда хозяин хочет. А хозяин, помня деревянную лавчонку в селе Крошкино, где единственным более или менее постоянным товаром были спички, хотел прямо на белом коне въехать в открытые двери и со своей новой высоты взглянуть на полки этого гастронома, на невиданные и виданные товары, и, может быть, даже купить что-нибудь, или принять что-нибудь в подарок и тут же попросить хотя бы того же Виктора Степановича отослать часть подарка в село Крошкино жене Маняше и детям, а вторую часть подарка – конечно меньшую – передать Марии Игнатьевне с благодарностью и добрыми по отношению к ней чувствами. Но тут же подумал он о том, что денег в его карманах, кроме той мелочи, что лежала там еще до колхозного собрания, нету, а мелочи той разве что на спички может хватить, но не на большее. И задумал он по приезде на аэродром спросить Виктора Степановича о деньгах, ведь без них ни жить, ни работать нельзя.

А желанный гастроном тем временем остался позади и в памяти у народного контролера, и успокоил себя Павел мыслью о том, что в следующий свой приезд обязательно зайдет туда и купит чего-нибудь.

Из-за отсутствия часов не знал народный контролер, сколько времени занял этот конно-машинный переход, однако желудочное чувство, напомнившее о необходимости приема пищи, подсказало, что обеденное время уже закончилось.

Когда процессия достигла аэродрома, расположенного в нежилой части столицы, мотоциклетный эскорт развернулся и уехал обратно, громко взревев на прощанье двигателями.

Народный контролер спрыгнул с коня, подошел к остановившейся впереди машине. Метрах в пятидесяти от нее стояла деревянная будочка, раскрашенная в белые и красные полосы, с ветро-определителем на крыше. Сачок ветроопределителя то надувался, то опадал, что говорило о непостоянстве движения воздушных масс.

Дальше, за будочкой, виднелся самолет среднего размера, а за самолетом уже ничего не виднелось: там простиралось обширное поле, зеленое и гладкое, без единого горбика.

Зашли в будку и познакомились с летчиком.

Потом пили чай и ели специально приготовленные для них бутерброды с мягким ливером. И вот за чаем Павел спросил Виктора Степановича о деньгах.

– Ты не беспокойся! – ответил на это Виктор Степанович. – Удостоверение народного контролера у тебя есть?

– Есть, – подтвердил Павел.

– Ну а раз есть, то деньги тебе не нужны. По предъявлении этого удостоверения тебя обязаны кормить, снабжать мануфактурой и готовой одеждой, а также и другими необходимыми вещами. Понятно?

Народный контролер кивнул, глотнул чаю, доел второй бутерброд.

– Мы распорядились, – добавил Виктор Степанович. – Так что там тебя встретят и введут в курс дела.

Павел еще раз кивнул.

– Я тут радио слушал, – сказал, прожевывая пищу, летчик. – Так в Киеве сегодня первый троллейбус пустили...

– Он не из Киева! – отрезал строгим голосом Виктор Степанович.

– А-а... – понимающе протянул летчик. – Ну... можно лететь?

– Сейчас полетите... – проговорил Виктор Степанович, думая о чем-то своем.

Минут через пять вышли из будки. Конь послушно стоял у автомобиля, из которого доносился невыразительный храп шофера. Шофера разбудили; общими усилиями затолкали коня по трехступенчатому трапу в грузовой отсек самолета. Потом летчик помог Павлу натянуть на голову тесноватый шлем и, усадив его в кабине, возвратился на землю, чтобы запустить винты. Сначала запустил левый, потом правый.

А Виктор Степанович отошел в сторонку и оттуда время от времени махал рукой народному контролеру, на что Павел отвечал тем же. Настроение у Павла было возбужденное, а тут еще дрожание самолета неприятно отдавалось в животе, да и страшновато было первый раз в жизни лететь на этой крылатой машине. Одним себя успокаивал народный контролер – мыслью об огромном доверии Родины, пославшей его в этот полет, мыслью о будущей жизни, о работе и о всем прекрасном, которое неизбежно должно было встретиться ему на пути.

А машина внезапно дернулась и побежала по полю, подпрыгивая на невидимых горбинках земли. Павел испугался потому, что, как показалось ему, летчик остался там, сзади, но, найдя его взглядом на положенном месте со штурвалом в руках, народный контролер успокоился, мысленно перекрестился и замер. Замер в ожидании того момента, когда самолет отрвется от земли и вспарит в такое глубокое и безоблачное небо.

Через какие-то мгновения самолет действительно взлетел, и дрожание его ослабло. Павла начало укачивать, и он заснул.

Глава 10

В кузове сиделось неудобно, и хоть все пятеро подпирали спинами борта, но на ухабах этой ночной дороги их так подбрасывало, что даже потирать ушибленные места они быстро устали. Молча сносили грубости грунтовой дороги, пролегшей среди полей, и два красноармейца, конвоировавшие арестованных. Дезертир в сарафанной «рубашке» иногда сползал на днище кузова и засыпал до следующего ухаба. Беглый колхозник рыскал взглядом по звездам, рассыпанным щедрою рукою космоса по ночному небу. Ангел с грустью думал о покинутом Рае.

Чиркнула спичка, и один из красноармейцев закурил.

Машина билась колесами о неровности дороги и от этого дрожала и подпрыгивала.

Снова подбросило сидевших в кузове, и дезертир, в очередной раз проснувшись, чертыхнулся громко и матерно.

Беглый колхозник отчего-то причмокнул губами, все еще глядя в небо. Он словно увидел там что-то любопытное и так задрал голову, чтобы это любопытное рассмотреть, что привлек к себе внимание остальных.

– Че там? – спросил дезертир, тоже запустив свой взгляд к ночным звездам.

– Да есть там одна... – загадочно произнес колхозник, будто специально хотел озадачить соседей по кузову.

– Че одна? Звезда, что ли? – не унимался дезертир.

– Ага, – кивнул беглый труженик полей.

Ангел отвлекся от своих грустных воспоминаний и прислушался к странному разговору.

Красноармейцы тоже вроде как замерли и пытались так заглянуть туда, на звезды, чтоб арестованным это было незаметно.

– Ну а че она? – дезертир придвинулся к беглому колхознику и ткнул его локтем в бок, чтоб тот стал поразговорчивее.

– Да она это... она путеуказующая, Архипкой зовется...

– Звезда? Архипкой? – переспросил дезертир.

– Ну да, – снова кивнул бывший колхозник. – Если за ней семь ночей идти – обязательно в Новые Палестины попадешь.

Красноармейцы, подпиравшие внутренний борт, за которым начиналась кабина водителя, заерзали и перелезли под правый борт поближе к рассказчику.

– А че там, в этих Палестинах? – спросил один из них.

– Там хорошо, – протянул беглый колхозник. – Там чернозем легкий, как гусиный пух, и растет в нем все, что не тыкни!

– Да ну?! – не поверил второй красноармеец. – А если камень ткнуть?

– То и камень будет расти! – уверил его арестованный колхозник.

– Ну это ты врешь! – сказал дезертир.

– Может, и вру, – пожал плечами колхозник. – Но только там оно и есть – царство справедливости, и те, кто туда попадает, уже никогда назад не возвращаются.

– А ты че, был там, что так много знаешь? – спросил второй красноармеец.

– Хэ-э, если б я туда дошел – хрен бы вы меня поймали! – мечтательно произнес беглый колхозник.

– А ты че, туда шел? – заинтересовался первый красноармеец.

– А куда мне еще? – выдохнул парень в суконной рванине.

И после этих его слов, произнесенных с чувственным надрывом, нависла над кузовом такая дивная тишина, что и шум мотора она собою заглушила. Замолчали все, и настроение у них стало тревожно-тоскливым. Каждый задумался о царстве справедливости, где чернозем

легок, как гусиный пух. Каждый налился тревогой и ожиданием дрожи, словно знали они, что где-то рядом с ними волк на звезды смотрит и вот-вот выть начнет.

И даже ангелу передалось это тревожное ожидание. И вселилась в его мысли надежда, что именно там, в Новых Палестинах, возможно найти праведников, и уж тогда он точно останется с ними, чтобы пройти вместе земной путь и проводить их в ворота Рая. Что тогда скажут его братья и сестры? Что они скажут? Они наверняка обнимут его и, ни слова не говоря, простят ему побег. Но чтобы попасть в эти Палестины, надо было именно туда и ехать, а их везли, как подозревал ангел, а другие уж точно знали, в совсем другую сторону. Однако все-таки ангел повернулся к ближайшему красноармейцу и спросил его:

– А мы сейчас не в Новые Палестины едем?

Красноармеец вместо того, чтобы ответить, задумался. Стал выковыривать что-то желтым пальцем из такого же цвета зубов. А ангел все смотрел ему в глаза, ожидая.

– А ты ту звезду хорошо знаешь? – спросил вдруг у беглого колхозника второй красноармеец.

– А то как же, – ответил тот. – Я на нее уже давно посматривал... Ни в жисть не перепутаю.

И снова зависла над ними безголосая тишина.

А машина не спеша, вразвалку ехала по ухабистой проселочной дороге. Главный красноармеец спал молодецким сном, склонив голову на левое плечо. Из-за тряски голова его болталась и время от времени ударялась в плечо водителя, однако тот не обращал на спящего командира никакого внимания и думал лишь о том, чтобы не закончилось горючее, без которого грузовик станет как памятник и с места не сдвинется.

А в кузове вновь зазвучал человеческий голос.

– А что, если б нам всем туда рвануть? А? Нас туда пустят? – на одном дыхании выпалил дезертир и тут же обвел всех горячным взглядом.

– Конечно, пустят, – ответил на это бывший колхозник. – Туда всех пускают, которые хотят по справедливости жить.

– Ну, может, и... – произнес первый красноармеец и покосился на второго.

– Да ладно... – кивнул второй. – Чего там?!

Ангел никак не мог полностью понять красноармейцев, но в голосах их он уловил, что и эти люди не прочь были пожить при справедливости.

– Так, может, сиганем все и пойдем туда, за звездой этой, Архипкой? – снова выпалил дезертир, жадно вглядываясь в проколотое звездами небо.

– А кто первый? – осторожно спросил первый красноармеец.

– Кто-кто, конечно, Красная Армия! – ответил дезертир.

– Нет, – не согласился первый красноармеец. – Мы конвой, мы должны последние прыгать.

– Ну ладно! – Беглый колхозник привстал с дощатого пола кузова. – Тогда я первый!

И, подойдя к заднему борту, он перекрестился и прыгнул.

– Ну че? Кто там следующий? Давай ты, ангел чокнутый! – обратился к ангелу дезертир.

Ангел подошел к заднему борту, и хоть было ему страшно, но все-таки подпрыгнул он на месте, и тут же машина словно выскочила из-под него, и приземлился он на землю, и сразу же бросило его на спину, перевернуло через себя. А машина уже удалялась, и звук ее мотора становился все тише и тише, словно втягивался он в особую звуковую воронку, которая, как обычный речной водоворот, заглатывала любой шум, убирая его таким образом из природы.

– Эй! – донесся до ангела голос беглого колхозника. – Есть кто еще?

– Я есть! – крикнул ему в ответ ангел и, поднявшись на ноги, пошел на голос.

– Не ушибся? – спросил крестьянин.

– Нет.

– Ну пошли тогда, остальных соберем! – предложил бывший колхозник, и потопали они под звездами в сторону уехавшей от них машины.

Минут через десять нашли они дезертира, неудачно прыгнувшего с кузова и оттого теперь хромавшего на правую ногу.

– Ну че, пойдем этих вояк найдем и отправимся! – предложил крестьянин.

– А на хрена они тебе нужны! – вдруг довольно злым голосом проговорил дезертир. – Там только Красной Армии не хватало!

– Нехорошо, – как-то заторможенно проговорил беглый колхозник. – Они ж тоже справедливости хотели... без них мы бы и не прыгнули!

– Да, надо их найти... – поддержал крестьянина ангел.

Дезертир сплюнул на ночную землю. Потом сказал: «Ладно, пошли!»

И отправились они втроем на поиски прыгнувших красноармейцев.

Первого нашли быстро. Он сидел посреди дороги и грустил.

– Ты чего? – спросил его дезертир.

– Да вот приклад обломался об землю, когда я прыгал... Несправное теперь ружье...

– Это не страшно, – успокоил его крестьянин. – Тама оно тебе все равно не нужно. Там не стреляют.

Услышав эти слова, красноармеец вроде как перестал грустить, поднялся на ноги, и пошли они уже вчетвером разыскивать последнего участника побега. Долго шли они по дороге и уже начали было подозревать, что второй красноармеец не прыгнул: то ли испугался ноги поломать, то ли побоялся, что поймают его и как дезертира расстреляют ржавой пулей.

Но опасения не подтвердились.

– Стой! Стрелять буду! – крикнул вдруг кто-то из-за спин идущих.

Вздрогнули они, но тут же услышали хохот и поняли, что это второй красноармеец так пошутил.

– Ну че, – он подошел и сразу строго посмотрел в глаза беглому колхознику. – Давай, показывай, где твоя Архипка!

Колхозник внимательно уставился в звездные скопления, а потом подвел под свой взгляд правую руку с выставленным указательным пальцем, подровнял палец по своим глазам, словно был это не палец, а прицел. И сказал:

– А вон она! Такая неприметная и светит послабше других!

Все посмотрели примерно туда, куда тыкал его указательный палец.

– Так там они все такие?! – недоуменно выговорил дезертир.

– Ну так а как же я тебе иначе покажу? – спросил беглый колхозник. – Я-то ее знаю, а для тебя что одна, что другая...

– Ты ладно, – сказал красноармеец, обломавший ружье. – Ты давай води, а то скоро светать начнет, а мы еще даже в дорогу не тронулись!

– Ну так пошли! – скомандовал беглый колхозник и зашагал серьезно и уверенно прямо по незапаханному полю туда, куда указывала ему не знаемая другими звезда Архипка.

Шли они долго, пока высунувшиеся из-за горизонта лучи не разогнали ночную темень. А когда разошлась темнота, растворилась в прозрачном воздухе, остановился беглый колхозник и остальных остановил, говоря: «Теперь обождем до вечера, и останется еще шесть ночей пути».

Остальные послушно опустили на зеленую траву, прилегли. Отдыхать стали. Ангел тоже прилег, и сразу его сон сморил. Хорошо ему было и так, и во сне тоже.

А над травой пчелы жужжали, порхали бабочки, и вообще проснулась жизнь земная, проснулась и запела на разные птичьи манеры и насекомые голоса.

Постепенно и остальные путники уснули сладко и приятно, согреваемые мечтою о Новых Палестинах, где чернозем легок, как гусиный пух, и все живут по справедливости.

Глава 11

Осенним вечером, когда краски заходящего солнца были особенно яркие, Василий Васильевич Банов сидел на крыше возглавляемой им школы и смотрел на небо.

Позади было курортное лето, и воспоминания о нем еще согревали душу, однако одними воспоминаниями, даже если это воспоминания о юге, не согреешься. И поэтому постоянно отвлекался Василий Васильевич от прошлого, постоянно задумывался о работе, о только недавно начавшемся образовательном процессе, через который надо было качественно и полноценно пропустить добрые четыре сотни своих воспитанников. И действительно, было о чем ему подумать, ведь одно дело – утвержденный в Наркомпросе план, и другое дело – реальная жизнь, к которой каждый день что-то добавляется, обогащая или же просто усложняя ее. Вот и сейчас никак не мог припомнить директор школы, какие были запланированы на осень воспитательно-трудовые экскурсии на московские заводы. Не мог, и все тут. Не та уже память!

А небо темнело. Виноградные гроздья звезд опускались с невидимых веток. Затихал шум большого столичного города.

Директор Банов слез с крыши и зашел в свой кабинет. Там, перед тем как сесть за широкий письменный стол, зажег примус, подкачал его и поставил чайник с водой.

Достал утвержденные Наркомпросом планы, просмотрел их и тут же спрятал в верхний ящик стола. Снова задумался.

И вдруг затенькал телефон, и Банов, уставившись на черный аппарат, обомлел ненадолго. В школе ведь никого нет и не должно быть в такое позднее время, а аппарат словно был живым и знал о том, что он, Василий Васильевич Банов, сидит именно у себя в кабинете и собирается пить чай.

В конце концов директор школы снял трубку.

– Товарищ Банов? – спросил четкий мужской голос.

– Да.

– Это Буртенко, из Наркомпроса, ночной дежурный. К вам сейчас приедет посыльный с пакетом. Отнесите к этому очень серьезно! До свидания!

И запикали короткие гудки из положенной на стол трубки.

Вскипела вода. Василий Васильевич затушил огонь примуса, потом положил трубку на телефонный аппарат.

Вскоре донесся до его слуха звонок. Теперь надо было вставать и идти на первый этаж, чтобы открыть дверь посыльному.

Внизу, идя по тускло освещенному дежурным красным светом коридору, он снова услышал нетерпеливый звонок и прибавил шаг.

Открыл дверь и тут же наткнулся на недовольный прищуренный взгляд худощавого человека средних лет в военной форме.

– Вам пакет! – отчеканил человек, протягивая объемистую бумажную упаковку с сургучной печатью.

Все еще озадаченный, директор школы взял пакет и хотел было пригласить посыльного подняться к нему на второй этаж выпить чаю, но тот, не попрощавшись, развернулся и растворился в полумраке Даева переулка.

Закрыв дверь, Василий Васильевич Банов вернулся в свой кабинет, бросил в чайник щепотку грузинского чая и, усевшись, принялся за содержимое пакета.

Внутри пакета оказалось два обычных конверта. Один из них содержал плотную пачку новых педагогических рекомендаций, а во втором находился всего лишь один-единственный листок, но в нижней его части, после отпечатанного типографским способом текста, стояла

жирная фиолетовая печать с гербом страны во внутреннем круге, а рядом в столбик стояли – каждая величественная по-своему – три размашистых подписи.

«Приказ, – начал читать, беззвучно шевеля губами, Банов. – Приказываю настоящим провести в понедельник 13 сентября сего года во всех школах Союза Советских Социалистических Республик, включая школы дипломатических корпусов, консульств и торговых представительств, располагающихся за рубежом, единый учебный день по особой программе. Этот учебный день должен быть полностью посвящен написанию всеми учениками начиная с 3-го класса сочинений по одной из предложенных ниже тем. Время написания сочинения – шесть часов без перерыва. При необходимости это время можно удлинить. Директора школ и учителя обязаны проследить, чтобы отсутствующие по уважительным причинам ученики написали это сочинение в положенное время вне стен учебного заведения. Каждое сочинение пишется на отдельных сдвоенных тетрадных листках. На первой заглавной странице указывается ФИО ученика, номер класса и школы, домашний адрес и избранная тема. После окончания написания сочинения укладываются в папки поклассно и хранятся в кабинете директора школы под его личную ответственность, пока за ними не приедет посыльный Наркомпроса. Школьными учителями сочинения не оцениваются и не проверяются.

Приложение № 1: темы сочинений:

1. «За что я люблю свою Родину».
2. «Моя семья – строители коммунизма».
3. «О чем мечтает мой папа».

Дочитав, директор Банов налил заваренного чая в свою любимую жестяную кружку, пересел на другую сторону стола, чтобы виден был ему портрет Дзержинского, и снова задумался.

Часы, висевшие рядом с портретом, показывали почти одиннадцать вечера. Надо было идти домой, но так не хотелось, и Василий Васильевич как мог растягивал свое вечернее чаепитие.

* * *

Наступило 13 сентября, понедельник. Заранее предупрежденные на учительском совещании педагоги пришли в этот день в школу опрятные и торжественные. Каждый стал у входа в свой класс и выдавал в руки ученикам тетрадные листы для сочинений. Темы еще с вечера были написаны крупными буквами на школьных досках.

Прозвенел звонок, и наступила в школе удивительная тишина.

Банов вышел из своего кабинета, подошел к одной закрытой двери, прислушался – там было тихо, как ночью. Подошел к другой – то же самое.

Все работали, все писали сочинения. Приказ Наркомпроса исполнялся, и, удовлетворенный этим, директор школы полез через чердачную дверь на крышу, чтобы посмотреть вокруг на изо дня в день растущую столицу.

Первым делом посмотрел он на многоэтажный дом, недавно, год назад, заслонивший одну из кремлевских башен. Сразу стало чуть грустно, ведь именно после этого перестал Василий Васильевич водить отличников учебы и поведения на крышу в воспитательных целях.

Потом директор школы осмотрел другие новостройки, видневшиеся вблизи и вдали, но они никаких мыслей в нем не вызывали.

Город шумел. По его улицам разноцветными жуками ездили машины.

По синему небу совсем недалеко, вероятно над Сокольниками, проплыл аэроплан.

Обычный день. Тихий, спокойный. В мирное время таких дней всегда – большинство в человеческой жизни. А в немирное...

Директор Банов вспомнил далекое немирное время и облизнул сухие губы. Возник в его мыслях странный, но совершенно правдивый вопрос: «Почему борьба интереснее, чем победа?» Возник, да так и остался неотвеченным, как какой-нибудь классический древнеримский парадокс.

А день продолжался. Во всех школах Советского Союза стояла тишина, и только иногда кто-нибудь из детей ойкал, перевернув чернильницу или случайно сломав перо. И спешил тогда к неудачнику учитель, спешил на помощь, чтобы как можно быстрее тот или та могли продолжить исполнение приказа Наркомпроса.

Василий Васильевич посмотрел на свои часы и задумчиво закивал головой. Сколько еще времени пройдет, прежде чем школа останется пустой, прежде чем все, и ученики, и учителя, и уборщицы, разойдутся по домам?! Три часа, четыре, пять? Банов очень любил свою школу. Но любил он ее, когда в просторных чистых коридорах не было ни души, когда в школе было тихо, когда в ее полумраке светились дежурным светом красные лампочки.

Незаметно для себя задремал директор Банов за столом, и перешла бы его дрема в глубокий сон, если бы не постучал кто-то настойчиво в дверь кабинета.

– Войдите! – крикнул Банов, усаживаясь за столом поосанистей.

Вошел учитель младших классов Куприянов с синей папкой в правой руке.

– Разрешите отрапортовать! – обратился он к директору школы. – Сочинение в количестве тридцати трех штук третьим-А классом написано. Отсутствующих в классе не было.

Не успел директор школы задуматься о чем-нибудь, как в кабинет вошел с рапортом еще один учитель, потом еще один, и так длилось около часа с коротенькими перерывами, пока не наступило вдруг затишье. Только тогда, посчитав лежавшие в стопках на его столе папки с сочинениями, понял Банов, что его школа приказ Наркомпроса выполнила. Надо было еще, конечно, уточнить: сколько учеников писали сочинения вне стен школы и кто из учителей им помогал, но это дело было поручено завучу, бывшему матросу Кушнеренко, а на этого человека – Банов знал – можно было положиться.

Василий Васильевич заварил себе чаю, не спеша разболтал в жестяной кружке два кубика сахара. Придвинул к себе ближнюю папку, на которой было помечено «7-Б класс. 31 (тридцать одно) сочинение. Учитель Можайкин В. И». Развязал тесемочки, раскрыл.

Снова постучали в дверь, и директор школы машинально прихлопнул папку.

Вошел завуч.

– Товарищ директор школы, – заговорил он. – Разрешите отрапортовать. Из сорока двух учеников, находящихся вне школы, сорок один написал сочинение, которые здесь же прилагаются! – и он показал взглядом на папку в своих руках.

– А что ж сорок второй? – поинтересовался Банов.

– Врачи не разрешили... он в больнице с переломом позвоночника, без сознания... Остальные, которые тоже в больницах, – написали.

– Ну хорошо, спасибо, – директор школы кивнул завучу Кушнеренко. – Оставь папку и можешь идти! Там, кстати, ученики и учителя разошлись?

– Да, разошлись уже, – сказал завуч Кушнеренко. – Только Петровна осталась пока, полы на первом этаже моет...

– Ну, скажи ей, как домочет первый этаж, пусть домой идет. Сегодня переменок не было, так что сору не видно.

Хлопнула дверь, и гулко прозвучали, удаляясь по коридору, шаги завуча.

Банов снова открыл папку. Было ему любопытно: какую из трех предложенных тем чаще выбирали школьники. Просмотрел несколько заглавий. В основном встречались две темы: про любовь к Родине и о семье. Василий Васильевич немного удивился. Ведь ему показалось, что писать о мечте отца должно было бы быть полегче. Он перебрал пальцами еще десяток сочинений, и опять результат оказался тем же – только две темы. Это еще больше удивило, а может быть, даже и озадачило директора школы. Отложив просмотренные, он взял в руки оставшуюся стопочку тетрадных листков и, проглядывая титульную страницу, откладывал их к уже просмотренным, пока взгляд его вдруг не остановился на том единственном пока сочинении, тема которого касалась мечты отца. Губы Банова улыбнулись, он отглотнул остывшего чая и раскрыл сочинение, однако первое же предложение сочинения убрало улыбку с лица директора школы.

«Папы у меня нет. И поэтому я пишу, о чем мечтала моя мама. Мечтала она раньше, а сейчас она уже не мечтает...»

Банов тяжело вздохнул – хотелось ему прочесть что-нибудь бодрое и боевое, по-настоящему мальчишечье, а тут в самом начале сочинения такая плаксивость!

Директор школы вернул свой взгляд на титульный лист.

«Роберт Ройд, 7-Б класс, домашний адрес: Москва, 2-й Казачий пер., дом 10/3, кв. 4».

– Ройд? – прошептал удивленный Банов.

Человек с такой странной нерусской фамилией встречался ему когда-то, во время войны. Это был рыжеволосый боец, любивший повторять, что он врожденный анархист. Родом он, кажется, был из-под Риги. Чем он еще запомнился? Пожалуй, одной только фразой, которую он очень любил повторять, как только видел Банова.

«Банов, – говорил он. – Запомни, в жизни есть только два настоящих удовольствия: женщины и борьба». Глупая фраза. Банов никогда не был с ней согласен. Но что-то теплое шевельнулось в директоре школы, что-то связанное с лучшей частью его жизни, с его немирным прошлым. И он снова открыл сочинение семиклассника Роберта Ройда.

«Папы у меня нет. Поэтому я пишу, о чем мечтала моя мама. Мечтала она раньше, а сейчас она уже не мечтает. Потому, что она очень больная. А раньше она мечтала стать летчицей и полететь на Северный полюс. Еще она мечтала стать известной парашютисткой и бить всесоюзные рекорды. Но после того, как папу отравили и он умер, мама сказала, что больше не будет ни о чем мечтать, что все лучшее осталось в прошлом. И сказала, что прошлого не вернешь...»

Дальше Банов читать не стал. Упаднический характер сочинения ему очень не нравился – за такие настроения учеников может и директор поплатиться – все-таки он в ответе за воспитанников. Но сами выведенные детской рукой факты настораживали и на самом деле огорчали, хотя в правдивости их можно было и сомневаться, ведь дети очень любят фантазировать, притом фантазируют одинаково легко в обе стороны: и в веселую, и в трагическую. Во всяком случае, захотел директор школы посмотреть на этого мальчика. А вдруг он действительно сын того Ройда, и если это так, то надо было бы и про отравление узнать, если оно окажется правдой.

Около часа ночи ко входу в школу подъехал грузовик. На нем группа курьеров Наркомпроса собирала сочинения. Добрая половина кузова уже была заполнена разноцветными папками. Курьер с двумя помогавшими ему солдатами забрали папки и у Банова. Забрали и, попрощавшись кивками, но не человеческим словом, ушли. Директор не спеша спустился за

ними, закрыл дверь и еще постоял недолго на первом этаже, пока не затих где-то за переулком двигатель грузовика. Потом он поднялся к себе, поставил чай, вытащил из ящика стола сочинение Роберта Ройда и переложил его в тяжелый несгораемый шкаф, стоявший в углу.

Во вторник сразу после уроков завуч Кушнеренко привел в директорский кабинет рыжеволосого мальчишку.

– Здравствуй! – громко поприветствовал его Банов, привстав из-за стола.

– Здравствуйте... – прошептал смущенный ученик, остановившись посередине кабинета.

– Ну, чего ты там стал, иди сюда, садись вот! – смягчил Банов голос, подумав, что слишком громко гаркнул вначале.

Завуч, подмигнув не к месту, вышел и тихонько прикрыл за собой дверь.

Мальчик подошел несмело, опустил на стул.

– Так как тебя зовут? – спросил директор.

– Роберт...

– А меня Василий Васильевич. Так знаешь, Роберт, чего я хотел с тобой поговорить? – скосноязычил не знавший, как начать разговор, Банов. – Хотел я с тобой про твоё сочинение, в общем. Чай хочешь?

Мальчик отрицательно замотал головой.

– Ну что, на самом деле мамка ни о чём уже не мечтает? А? – спросил, напряженно глядя на лицо Роберта, директор школы.

– Не-е. Не мечтает...

– Ну а ты пытался мамке помочь? А? Ты-то сам как к этому относишься? Сам ведь мечтаешь наверное?

– Мечтаю, – признался мальчик.

– Ну а о чём ты мечтаешь? – поинтересовался Банов, радуясь тому, что разговор вроде налаживался.

– Хочу летчиком стать.

– Вот и хорошо. Я тебе вот что скажу. Если сейчас о чём-то мечтать – то наверняка все так и получится. Я вот мечтал конницей командовать, а видишь – директором школы поставили. Это потому, что было трудное время. А когда ты вырастешь, будет совсем другое время, и ты сможешь стать летчиком. Главное – верить. Понял?

– Ага. – Мальчик кивнул и первый раз посмелее посмотрел в глаза Банову.

– Ну а что там у тебя с отцом приключилось? – спросил вдруг Банов, стараясь изобразить на лице печальную серьёзность.

– Отравили. – Роберт снова опустил глаза и уставился в поверхность стола.

– Кто?

– Старые большевики...

– Да не может быть! Откуда ты это знаешь?! – возмущенно удивился директор.

– А он сам перед смертью сказал. Их туда пятерых пригласили, накормили вкусно какой-то селедкой, а потом к утру они все умерли...

– Кто они? Кто все?

– А из бывших анархистов...

Банов прикусил губу. Хоть он и думал, что это может быть тот самый Ройд, но подтвердившаяся догадка оказалась для него шоком. Да еще тут это отравление, с которым, конечно, надо бы еще разобраться. Нельзя же ребенку так просто на слово верить!

– Ну что, ты вот, Роберт, как бы это... меня со своей мамкой познакомил бы... А? – сказал после паузы Банов. – Может, мы бы с ней поговорили, а там, глядишь, она и снова мечтать начнет, и жизнь у вас получше, повеселее, что ли, станет...

Мальчик пожал плечами, не отрывая взгляда от столешницы.

– Ну ладно, иди домой. Да скажи мамке, что я как-нибудь зайду к вам! – Банов встал и протянул мальчику здоровенную жилистую руку.

Роберт пожал ее, но только не почувствовал этого пожатия директор. Пожал и, промямлив «До свидания», пошел к двери.

До позднего вечера сидел Банов за столом и думал. Думал о разном, но всегда после «разного» мысли его возвращались к этому рыжему мальчишке, его матери, к самому, теперь уже покойному Ройду, для которого в жизни были только два удовольствия: женщины и борьба.

Начинало темнеть. Директор включил свет, достал из несгораемого шкафа сочинение Роберта и переписал с его титульного листа адрес в свою записную книжку, после чего снова возвратил сочинение на место и тщательно закрыл тремя ключами несгораемый шкаф.

На улице все еще чувствовался теплый ушедший день. Из-за дальних домов выглянула луна, показавшаяся Банову похожей на инвалида.

До Второго Казачьего переуллка было минут десять ходьбы. Не больше.

Дом Банов нашел легко. Зашел в парадное, поднялся по широкой лестнице на второй этаж и остановился перед дверью с номером четыре. Слева на стене висели две маленькие таблички, устроенные на гвоздях под кнопками звонков: «Шкарницкий – звонить один раз», «Ройд – звонить два раза».

Банов задумался. Своих соседей по коммуналке он не любил, а значит понимал, как много вещей в бытовой и в личной жизни зависит от них. И, должно быть поэтому, рука потянулась к кнопке звонка Шкарницкого. Тем более тот факт, что в разные звонки надо было звонить еще и разное количество раз, как бы насторожил директора школы. Это как раз и показывало, что совместная жизнь этой коммунальной квартиры в трехэтажном старинном доме, возможно, была излишне усложнена.

Шкарницкий, открыв входную дверь, оказался человеком малоприятной наружности, худым, высоким, сальным. И дело было тут не только в его давно невымытых волосах, а и во всей внешности, включая и давно не стиранную одежду.

– Вы ко мне, товарищ? – встретил он Банова вопросом.

– Да нет, мне товарищ Ройд нужна, – ответил Банов, разглядывая стоявшего перед ним человека.

– А читать на стенах вы умеете? – без особого возмущения, но довольно неприятно спросил Шкарницкий. – Там же написано: «Ройд – два звонка» и к тому же в другую кнопку!

И тут же, сказав это, Шкарницкий захлопнул дверь, так и не впустив директора школы в квартиру.

Ошеломленный Банов, постояв пару минут в недоумении, придавил дважды кнопку звонка Ройд.

Минуто спустя дверь снова открылась. Женщина лет тридцати с лишним, с короткой аккуратной стрижкой, одетая в домашний сиреневый халатик, предстала перед Бановым, и он, смутившись, жевал губы, словно забыл обычные русские слова.

– Вы ко мне? – спросила женщина слегка простуженным голосом.

– Да, – отрывисто выдохнул директор школы.

– Проходите!

Общий коридор коммунальной квартиры был достаточно широк, но мебели в нем не было.

Зашли в комнату, тоже просторную, обставленную по-старому, словно все предметы в ней оставались на своих местах, несмотря на революционное перераспределение всяких ценностей, а может быть, именно благодаря ему, а именно – с помощью замены хозяев этих предметов мебели и быта.

– Садитесь! – женщина указала на стул за добротным овальным столом, стоявшим посередине комнаты. Сама же уселась напротив.

– Спасибо, – произнес Банов. – Я – Василий Васильевич Банов, или просто товарищ Банов. Директор школы, где учится ваш сын Роберт...

– Очень приятно, – кивнула женщина, и на лице ее на мгновение появилась улыбка, совсем не радостная, но очень приятная и честная. – Я – Клара Рудольфовна Ройд. Но... дело в том, что Роберт – не мой сын...

Видно, выражение лица Банова стало очень озадаченным, и поэтому женщина поспешила объяснить:

– Я сестра его отца, Кристиана Ройда, а мать его умерла от тифа шесть лет назад, но она и до смерти жила отдельно, где-то в Уссурийске. Поэтому мы с Кристианом как-то договорились, что для Роберта будем родителями, отцом и матерью.

– И он ничего не знает? – спросил Банов.

– Нет. Я надеюсь, вы тоже никому не скажете этого...

– Конечно, – пообещал директор школы.

– Я знаю, что вы вызывали Роберта к себе... он мне рассказал. Поэтому я и объяснила вам все... Извините, я не предложила вам ничего, но дело в том, что чай можно делать только на кухне, и тогда мы с вами не успеем поговорить, ведь надо было бы все время у чайника стоять... может, вы водки выпьете? У меня немного есть... Банов облизал пересохшие губы, думая: а удобно ли согласиться на такое предложение.

– А где Роберт? – спросил он неожиданно, испугавшись, что мальчик может увидеть, как директор школы водку пьет.

– Он в клубе НКВД, в драмкружке там занимается. Где-то через часик вернется, – ответила Клара.

– Ну, тогда... пожалуй... – проговорил Банов, и женщина поднялась, достала из серванта початую бутылку и две стопочки. Потом рядом с ним поставила на стол два свежих огурца и солонку.

По первой выпили молча и как бы стесняясь друг друга, хотя, ясное дело, Банов чувствовал себя стеснительней и как бы неудобно.

– Я читал сочинение вашего сына... извините... Роберта. Оно называется «О чем мечтала моя мама»... Как бы вам сказать, товарищ Ройд, оно немного упадническое... он пишет, что вы больше ни о чем не мечтаете... и как бы потеряли веру в жизнь...

– Называйте меня Klarой, пожалуйста, – попросила хозяйка. – Отчего же не мечтаю? Мечтаю, но не могу же я обо всех своих мыслях говорить ребенку?

– Какой же он ребенок? – пожал плечами Банов. – Ему ж скоро пятнадцать лет. Взрослый человек... Я, собственно, пришел поговорить из-за этого сочинения... и, конечно, думаю, что вам надо быть как бы веселой, больше мечтать и, что ли, быть задорней, как товарищу Роберта. Ведь от этого очень зависит его дальнейшая жизнь... Я бы понимал, если б он рос в семье алкоголиков, но у вас здоровая советская семья...

И тут Банов замолк, сообразив, что сказал что-то невпопад. Видно, водка, развязав его язык до полного отсутствия смущенности, пошла дальше.

– Я, извините... не имел в виду обычную советскую семью. Я ведь знаю, что у вас горе случилось... с отцом Роберта...

Женщина горестно скривила губы, разлила по стопкам водочки, провела пальцем под правым глазом, снимая слезу.

– Может, вам не хочется об этом говорить? – спросил Банов негромко. – Я вам не сказал, хотя еще точно не знаю... Я был знаком с одним Ройдом...

Удивленный взгляд хозяйки зажег ее глаза необыкновенным светом. Она уставилась на директора школы. Пальцы правой руки обняли на столе стопку да так и застыли.

– Вы знали Кристиана?

– М-м-м, мы не называли друг друга по именам... я был товарищ Банов, был там и товарищ Ройд, такой рыжий, веселый... из анархистов... Он мне часто говорил: «Банов, запомни, в жизни есть только два настоящих удовольствия...»

– ...это женщины и борьба! – закончила вместо Банова хозяйка, и тут же по ее щекам потекли слезы, и она уже не пыталась с ними бороться.

Банов, снова смущенный моментом, осушил стопку и молча смотрел на свой кусочек стола, боясь причинить Кларе еще больше волнений.

– Надо было сразу сказать... что вы знали его... – говорила женщина. – А вы про Роберта... сочинение...

– Но я... я пришел действительно из-за Роберта... – словно оправдываясь, проговорил Банов. – Я же директор школы... я отвечаю за воспитанников, а он написал такое сочинение... и про то, как папу отравили... Это правда?!

Клара тяжело вздохнула, пожала плечиками.

– Кто знает? – произнесла она. – Может, случайно... Вон ведь в столовой Мосавиахима тоже семь человек насмерть селедкой отравились...

– Да, я читал... – припомнил вслух директор школы.

И вдруг неприятная мелкая боль около лодыжки заставила его отвлечься. Он наклонился, прихлопнул рукой низ штанины, думая убить проникшего туда комара.

Хозяйка тем временем успокоилась немного, снова налила в стопочки. Стопочки были до того маленькими, что Банов даже не замечал произведенного глотка. Только механически откусывал свой огурец после каждого, обмакнув его перед этим в солонку.

Из коридора донеслись шаги. Скрипнула дверь в комнату. Зашел Роберт. Удивленно поздоровался с директором школы, не остановив взгляд на бутылке водки.

Банов почему-то подумал, что вот сейчас сразу хозяйка спрячет бутылку и все останется незамеченным для мальчика, но Клара только кивнула Роберту и никакой попытки скрыть от ребенка не лучшую в воспитательном смысле часть взрослой жизни не произвела.

Почувствовав из-за этого некое неудобство, директор школы поднялся из-за стола.

– Я пойду уже, – проговорил он. Потом оглянулся на дверь – Роберт отсутствовал, видимо, ушел в туалет. – И прошу вас больше мечтать, постарайтесь мечтать вместе с ним...

Клара медленно поднялась, чтобы проводить гостя.

На улице было уже совсем темно. В этом переулке почему-то многие фонари не горели. Банов остановился, решая, что ему теперь делать: идти домой или же вернуться в школу, в свой кабинет. Домой не хотелось, как, впрочем, не хотелось сейчас идти и в школу, и поэтому решил он немного прогуляться по засыпающему городу, по этим коротким знакомым переулкам.

Бродил он по пустынным улочкам довольно долго. Уже прозвучали и затихли полуночные Кремлевские куранты. И какая-то звезда, висевшая до того над самой Москвою, сорвалась с низкого темно-синего неба и, соскользнув к земле, потухла в падении.

А Банов все ходил и ходил, поворачивая с одного переулка на другой, и время от времени возвращался снова на тот же переулок, и для разнообразия после такого возвращения поворачивая уже на какой-нибудь другой. На углу такого переулочка и какой-то более значительной улочки его неожиданно остановил спрятавшийся под стеною дома патруль.

– А вы почему не спите, товарищ? – вежливо спросили его трое высоких мужчин, показавшихся в темноте одинаково одетыми.

– Не спится... – признался им Банов.

– А вы что, завтра не работаете?

– Работаю, – сказал директор школы.

– А как же вы будете работать, если ночью не выспитесь? – продолжали выпытывать патрульные.

Банов уже мысленно признал их правоту и поэтому не спешил ответить на последний вопрос.

– Я, пожалуй, уже спать пойду! – сказал он через полминутки.

– То-то же! – одобрил его слова один из мужчин. – Мы ведь сейчас работаем, а утром спать будем! Ну, спокойной ночи!

– Спокойной! – ответил им Банов и, разобравшись с направлениями, пошел к своему дому, находившемуся совсем недалеко.

Действительно. Столица уже вовсю спала. Ни одного горящего светом окна, ни одного прохожего, ни одной машины на мостовых улиц.

* * *

Спокойно прошли несколько дней. Потом незаметно минул и выходной воскресный. И в понедельник Василий Васильевич Банов попросил завуча Кушнеренко снова вызвать в кабинет ученика 7-Б класса Роберта Ройда.

Встретились они уже как знакомые, и никакого стеснения в рыжеволосом мальчике директор школы больше не заметил. Спокойно вошел он, спокойно уселся на предложенный стул, лицом к директору и Держинскому, портретом висевшему на стене.

– Ну как? – бодро спросил ученика Банов. – Как там, дома?

– Нормально, – ответил Роберт.

Неудовлетворенный немногословием мальчика, директор решил поинтересоваться напролом:

– А мама как?

– Тоже нормально, – вяло отвечал ученик.

– Ну а она... мечтает теперь? – уже совсем в открытую спросил Банов то, что его больше всего интересовало.

– Кажется, нет... – ученик посмотрел, вроде бы пытаясь что-нибудь вспомнить, на потолок.

Такой ответ не порадовал директора школы. Даже, можно сказать, огорчил его и обеспокоил.

– Так что, совсем не мечтает?! – решил все-таки еще раз уточнить директор школы.

Мальчик уже более уверенно замотал головой.

– А скажи, Роберт, телефон у вас, кажется, есть? – спросил помрачневший Банов.

– Да-а...

– Дай-ка мне номер!

– Три ноль шесть семьдесят четыре...

Директор школы записал цифры на перекидном настольном календаре. После этого, снова обратив взгляд на мальчика, сказал: «Хорошо, иди!»

Оставшись наедине с портретом Держинского и собственными мыслями, Банов стал переживать рабочее время. Длилось это время медленно.

Потом в дверь постучали. Приходил учитель математических наук Зубровкин с предложениями по улучшению преподавания своих предметов. Предложения были записаны убогим почерком на десятке разлинованных рисовальных листов. Банов пообещал ознакомиться.

Еще какое-то время ушло на кипячение воды и заваривание чая. И таким образом, по мелочам, по много- и маломинутным отрезкам этого самого времени рабочий день иссяк, исструился песком песочных часов, и только тогда Василий Васильевич Банов немного ободрился, словно почувствовал окончаниями коридорных нервов, как школа опустевает, как покидают ее ученики и учителя, и работники школьной кухни, и медсестра Валентина, и все прочие

служители важного образовательного дела. И остается в этой школе в конце концов под самый вечер один-единственный человек, и этот человек – директор, хозяин этой школы, товарищ Банов.

Спустившись вниз и проверив, все ли ушли, а также не разрешив уборщице Петровне закончить мытье полов в ленинском зале, он закрыл школу изнутри и, вернувшись в свой кабинет, накрутил телефонный номер Ройдов. Там долго никто не брал трубку. Потом неприятный тонкий мужской голос – по-видимому принадлежавший соседу Шкарницкому – прокричал: «Что? Алло? Кто это?»

– Позовите вашу соседку! – требовательно и зло произнес в трубку Банов, почувствовавший еще большую нелюбовь к этому сальному типу, живущему в одной коммунальной квартире с такой необычной женщиной.

Видно, трубку на том конце грубо опустили на какую-то деревянную поверхность – в ухе у Банова раздался такой грохот, что он отвел трубку подальше. Потом уже другой, чуть простуженный, но приятный и знакомый женский голос спросил: «Алло? Алло? Говорите!»

– Здравствуйте! – выдохнул в трубку Банов.

– Кто это? Кто со мной говорит? – не узнала его собеседница.

– Это директор школы... товарищ Банов...

– А-а! Здравствуйте! Что-нибудь у Роберта?

– Да нет... Я хотел... я хотел вас сюда пригласить на беседу...

– Когда? – деловито спросила женщина.

– Ну... если можно, то сегодня...

– Но уже вечер!

– Это ничего. Я здесь обычно допоздна...

– Хорошо... – сказала Клара Ройд. – Я только ужин Роберту приготовлю и приду.

Опустив трубку на телефонный аппарат, Банов почувствовал облегчение. За окном еще только зарождались сумерки, но город уже притих. Прерывистой стала еще час назад бывшая монотонной и постоянной музыка автомобильных моторов.

Некоторое время спустя снизу раздался громкий дежурный звонок, и Банов поспешил, чуть ли не побежал ко входным дверям.

Клара была одета в легкий жакет и узкую строгую юбку, доходившую до колен. В руках – маленькая черная сумочка, на голове та же прическа.

– Я пришла, – сказала она открывшему двери Банову. Они поднялись на второй этаж, зашли в кабинет.

Там Клара Ройд села на место для посетителя и вопросительно глянула на директора школы.

Он тоже опустился на свой стул. Улыбнулся ей.

– Извините, что я вас вызвал так поздно, – заговорил Банов первым. – Я видел Роберта... и он мне сказал, что вы так и не мечтаете... Вот я и хотел спросить, так ли это?

– Это так, – с грустью в голосе призналась Клара.

– Вы же молодая, красивая женщина, у вас еще вся жизнь впереди. – И тут Банов сбился, понимая, что по поводу «вся жизнь впереди» он немного перегнул. – Во всяком случае... Это так важно для Роберта, чтобы кто-то поддерживал в нем энтузиазм, оптимизм, надежды.

– Да не могу я мечтать, – выдохнула тяжело Клара. – Разучилась. Как вы не можете понять?!

– Не можете? – переспросил Банов. – А давайте вместе попробуем? А? Я вот только чай сделаю, здесь все-таки не коммунальная кухня!

И, поднявшись, он поставил чайник на примус, отрегулировал пламя, подкачал примус немножко.

Клара молча наблюдала за четкими движениями Банова, за его какой-то внутренней организованностью, ощущаемой даже во взгляде его глаз, таких необычных, глубоких, болотно-зеленого цвета. И, видно, почувствовал Банов, что понравилось что-то в нем Кларе, и это как бы добавило ему самоуверенности, и, засыпая в кипящий чайник заварку, он уже был уверен, что научит эту женщину снова мечтать, научит ее, как быть счастливой, в общем спасет для страны одного человека.

Достав из ящика стола две жестяных кружки и взяв в другую руку горячий чайник, Банов посмотрел твердым взглядом на Клару и сказал:

– А теперь пойдемте на крышу чай пить!

И хоть предложение показалось женщине глупо-шаловливым и вроде бы неуместным для ее возраста, да и для возраста самого хозяина кабинета, но поднялась она послушно и пошла к двери, оставив свою маленькую черную сумочку на директорском столе.

Последняя лестница, ведущая уже к самому выходу на крышу, была слишком крутая, и там Клара пропустила Банова вперед, а сама, взяв у него ради помощи две кружки, приподняла свою узкую юбку и поднялась следом за директором.

Крыша была умеренно покатой, так что сидеть можно было везде, но они устроились на самом высоком месте, на ее коньке. Сразу же Банов разлил горячий чай по кружкам, а чайник установил на своих ни во что не упиравшихся ботинках – держать его в руках было горячо, поставь его просто на крышу – наверняка пополз бы вниз, а так ботинки были сработаны из толстой свиной кожи и тепла почти не пропускали.

Клара кое-как устроила на коньке крыши свою горячую кружку и только слегка поддерживала ее двумя пальцами за все еще обжигающую ручку.

– Ничего, здесь чай быстро остывает! – успокоил ее Банов, уже привыкший к такой температуре чая и спокойно державший в правой руке свою кружку.

– Вон там, – продолжил он, показывая рукой, – там был виден Кремль, Спасская башня. Я сюда отличников раньше водил по вечерам или днем. Еще год назад.

– Мне Роберт рассказывал, он ведь тоже был отличником, – проговорила Клара.

– А сейчас как у него? – спросил Банов, сам удивившись, что не узнал о его оценках раньше.

– Хуже. Даже тройки появились.

– Ну вот, видите, – укоризненно произнес директор школы. – Ведь успеваемость от таких мелочей зависит! Вы даже не представляете. Даже от работы школьной столовой зависит. Я вот проверял!

Клара так тяжело вздохнула, что Банов сразу замолчал. Он посмотрел на женщину внимательно и, хотя было темно и сидела она почти в метре от него, заметил выражение неудовольствия на ее лице.

«Действительно, чего я такой занудливый?» – покритиковал себя в мыслях Банов и тут же более веселым голосом заговорил:

– Вот Роберт говорил, что вы мечтали стать летчицей и прыгать с парашютом! А давайте помечтаем, что мы вместе с вами прыгаем с парашютом!

– Давайте! – согласилась Клара, и голос ее показался Банову оживающим.

– А ведь это не трудно! Если вы действительно хотите, можно наверняка узнать в Осоавиахиме или Добролете, как устроить прыжки с парашютом. Давайте я узнаю?

– Хорошо... – сказала женщина.

– А я вот мечтал конницей командовать... Мне страшно кони нравились. Даже страшно признаться, но в то время мне кони больше нравились, чем люди. Я вот наблюдал за ними и не видел ни разу, чтобы один конь хотел убить другого. Вот и представлял себе, как я впереди, а за мной сотни коней с седоками несутся. Тоже ведь, правда, хоть коней я и любил больше,

чем людей, а вот просто табун лошадей за своей спиной представлять не хотелось. Другое дело сотни всадников. Но не вышло из меня командира. Так я теперь мечтаю коня завести...

– А где же вы его держать будете? – удивилась Клара.

– Трудно, конечно. Хотя я знаю одно место в центре города, там есть просто удивительное место... и там у людей есть кони... Может быть, я смогу вам это место показать... Не знаю. Там очень строго с посещениями. А вы любите коней?

– Лошадей? Да, – кивнула Клара. – В детстве меня дедушка учил, как правильно садиться на лошадь, как галопом скакать...

Клара рассказывала, рассказывала. Уже перешла на дедушку, который был горным инженером, уже вспомнила пароход на Волге – на этом пароходе их семья плыла из Казани, и голос ее, теперь уже полностью оживший, звучал так сладко и приятно, как может звучать голос жизнерадостного человека. Банов слушал ее и упивался. Радость его была искренней, и только чуть-чуть смешивалась она с гордостью, возникшей в нем из-за того, что смог он все-таки разговаривать эту женщину, жизнь которой была настолько тяжела в последнее время, смог он ее если и не развеселить, то уж хоть немного напитать оптимизмом, оптимизмом, без которого настоящая жизнь в нашей огромной стране невозможна.

Потом возник маленький перерыв – они пили чай, уже немного поостывший, сладкий, и это тоже напомнило Кларе широкую просторную веранду какого-то старинного особнячка, принадлежавшего то ли дяде, то ли просто родственнику. И там они пили чай, а стол был заставлен двумя десятками разных пирожных...

Вечер был свеж, и звезды, спустившиеся с неба, отличались яркостью горения.

И вдруг опустилось откуда-то сверху эхо, гулкое и мощное, и тут же на его фоне раздался еще более громкий звук, напомнивший Кларе удары колокола. И был знаком этот звук очень, но так громко никогда она не слышала его и поэтому повернулась к Банову и что-то спросила, но из-за заполнившего воздух звука не услышал он ее слов и наклонился в ее сторону, прося, чтобы еще раз повторила она свой вопрос. И она наклонилась, чтобы повторить, и так очутились их губы почти рядом, и каждый ощутил теплое дыхание другого. Продолжалось это, может быть, минуту или две, и оба, затаив дыхание, смотрели друг на дружку, но никто не решился еще чуть-чуть, на сантиметр только, нагнуться, податься вперед. И тогда Банов сказал, найдя слухом какой-то малозаметный проем тишины между ударами. Сказал ласково, как обычно произносят другие слова: «Это куранты... Бьют полночь».

И чуть отпрянула Клара, но не из желания отпрянуть, а из-за неприятного ощущения в согнутой спине. И Банов выровнялся, не переставая смотреть на эту красивую женщину. А куранты гудели, били, и двое на школьной крыше слушали их бой и вдыхали этот удивительно свежий вечер, любовались огоньками малочисленных освещенных окон, за которыми, должно быть, люди, не знакомые им, но хорошие, честные люди, готовились ко сну.

И было у этих двоих еще полчайника сладкого чая и целое звездное небо, такое красивое, будто вытканное рукодельницами специально для Выставки достижений народного хозяйства.

А город засыпал, и уже не слышалась нигде музыка автомобильных моторов. Окна гасли. Снизу доносился шелест листьев.

Глава 12

Поезд на Караганду подали к третьей платформе. Падал снег и тут же таял, превращаясь в лужи, отражавшие свет фонарей, неяркий и желтоватый, как вологодское масло.

– Где тут третий вагон? – спросил у только что вышедшего на платформу проводника невысокий мужчина в зимнем пальто и каракулевым «пирожке» на голове.

– С хвоста! – ответил проводник, указав направление движением небритого подбородка.

Мужчина подхватил чемодан и какой-то затянутый в ткань конус и заспешил к нужному вагону.

Белые мухи снега попадали в глаза, и мужчина на ходу тряс головой, словно были они живыми и назойливыми.

– Это третий? – он остановился у миловидной проводницы в зеленом форменном пальто.

– Третий. – Она кивнула, окинув пассажира взглядом. Мужчина вытащил из кармана пальто билет.

– Проходите! – сказала проводница.

Двухместное купе первого класса было чистеньким и уютным.

Конус мужчина поставил на стол, а чемодан, вытащив из него кожаный футляр для туалетных принадлежностей, поднял под потолок на багажную полку.

Внутри конуса что-то зашуршало.

Мужчина, сев на свое место, расслабился, вытянул ноги, уперся ладонями в мягкую пружинящую кожаную обивку своего диванчика. Счастливо вздохнул.

«Поезд «Москва – Караганда» отходит через пять минут!» – сказал вокзал.

Мужчина снял пальто и повесил на плечики, а «пирожок» положил на узенькую полочку над своим спальным местом.

Щелкнул замочек двери, и в купе вошла девушка. С небольшим саквояжиком; на голове – теплый оренбургский платок.

– Здравствуйте! – сказала она, всматриваясь в лицо своего соседа.

Мужчина поздоровался. Потом привстал.

– Марк Иванов, артист! – сказал он, принимая от девушки саквояжик.

– Клава Федорова, химик-технолог, – представилась девушка. – А вы видели, кто в соседнем купе едет? Это не с вами?

– А кто там? – настороженно поинтересовался сосед.

– Ну как его, сейчас... я только вспомню! А, Валентинов!

– Вот как?! – сказал сосед по купе. – Нет, он не со мной... Я в другом жанре работаю, не в кино.

Девушка сняла верхнюю одежду, платок бережливо сложила и спрятала в полупустой, как увидел артист Иванов, саквояжик.

Поезд дернулся. Проехал несколько метров. Снова остановился. Еще раз дернулся. И поехал, медленно набирая скорость.

Иванов и Клава сидели напротив друг друга, на своих диванчиках.

Ярче загорелась лампочка под потолком.

«Сейчас бы почитать чего-нибудь!» – подумал Марк.

– Что это у вас там шуршит? – настороженно спросила Клава, глядя на странный конус, стоящий на столике.

– Это мой напарник, – ответил Марк. – Мы обычно вдвоем выступаем.

Девушка улыбнулась.

– Надеюсь, это не белая крыса?

– Ну что вы, Клава! Разве я похож на человека, который будет выступать с дрессированными крысами?!

– Ну а все-таки, что это? – настаивала девушка.

– Эй там, в клетке, тебя как зовут? – задиристо произнес Марк Иванов.

– Кузьма, – прозвучал странный голос, похожий на голос механической куклы.

Девушка усмехнулась. Помолчала, думая. Потом спросила:

– Попугай?

– Угадали! – сказал Марк.

– А зачем вы его так спрятали?

– Зима ведь началась. А он – птица нежная. Сейчас я вам его покажу!

И Марк Иванов подвинулся к клетке, открыл дверцу, не видимую из-за шерстяного чехла, скомандовал: «А ну выходи, артист!»

Сначала Кузьма высунул клюв, потом осмотрел круглыми глазками купе и наконец вышел.

– Какой большой! – всплеснула ладонями восторженная девушка. – И такой яркий!

Марк разрешил птице стать на свою руку, а потом перенес его на плечо.

– А что он у вас говорит? – спросила Клава уже игривым голоском.

Этот человек, сидевший напротив, с круглыми птичьими глазками, с зализанными короткими, но чуточку выющимися волосами, начинал ей нравиться. Казался он забавным и добрым.

– Ну что говорят обычно попугаи? – вопросом на вопрос ответил Марк Иванов.

– Попка-дурак! – рассмеявшись, предположила Клава.

– Обычно да, но Кузьма, конечно, умнее... В купе зашла проводница.

– Чай будете? – спросила она. Клава и Марк переглянулись.

– Будем! – ответил Марк. – А печенье у вас найдется?

– Найдется, – пообещала проводница и вышла.

– Да, так о чем мы? – сам себя спросил вслух Иванов.

– Что говорят попугаи, – подсказала Клава.

– Ладно, – Марк неожиданно махнул рукой. – Я вам признаюсь! Наш Кузьма выступает со стихами!

– Как?! – удивленно воскликнула Клава.

– Вот так, учит и декламирует! У него одна беда – терпеть не может названия стихотворений и фамилии поэтов. Вот поэтому я его и сопровождаю. Он прочитает публике стихотворение, а я потом объявляю название и автора...

– Вы серьезно?

– Ну да. – На небольшом лице Марка образовалась полусерьезная улыбка. – Кузьма, прочти что-нибудь! – обратился он к птице.

Клаве это показалось смешным. Она хихикнула.

– Ну, Кузьма! Печенье получишь!

Попугай покрутил клювом, посмотрел пристально правым глазом на единственную слушательницу в купе.

– Хм! – сказал он очень по-человечески. Помолчал, потом прочитал:

– Отлично! —

Воскликнула

Дочь его Сюзи.

– Давай побываем

В Советском Союзе!

Я буду питаться

Зернистой икрой,

Живую ловить осетрину,
Кататься на тройке
Над Волгой-рекой
И бегать в колхоз
По малину!

Клава захлопала в ладоши. Рассмеялась.

«Какой счастливый человек!» – с горечью подумал о ней Марк. Улыбка сбежала с его лица.

Проводница принесла чай, пачку «Шахматного» печенья. Заметив попугая на плече у пассажира, вскрикнула от испуга, чуть не пролив чай на стол.

– Ой, перепугали вы меня! – выговорила, все еще часто дыша. – Что ж это вы!..

Потом улыбнулась.

– Вам нехорошо? – спросила после ухода проводницы девушка, заметив перемену в лице соседа.

– Нет, – мягко ответил Марк. – Пейте чай! Мы сейчас и Кузьму покормим. Ведь он заработал?

– Да-а! – протянула Клава, поглядывая на синю-зеленую птицу.

– Ну, иди за стол! – Марк снял попугая с плеча, опустил его на столик, развернул пачку печенья и дал одно птице.

– Понимаете, – произнес Марк и тут же тяжело вздохнул. – Как мне вам объяснить? Ну вот прочитал он смешные стихи – вы рассмеялись, у вас улучшилось настроение. Так?

Клава кивнула.

– Так и должно быть. Это же жанр циркового искусства. Своего рода клоунада... А мне приказали новую программу составить только из серьезных патриотических стихотворений. Я люблю такие стихотворения, и сам готов их читать, но поймите, народ, видя перед собою попугая, будет смеяться. Народу ведь все равно, что птица скажет. Такое отношение у людей к попугаю. И не только у нас, во всем мире...

Лицо Клавы, очаровательное, правильной красоты личико, стало вдруг серьезным и озабоченным.

– Нет, я не против самой идеи использовать любые жанры и виды искусства в целях пропаганды, – продолжал Марк. – Я совсем не против... Но представьте себе хотя бы вот «Комсофлотский марш» Александра Безыменского:

Сгустились на западе гнет потемки,
Рабочих сдавили кольцом.
Но грянет и там броненосец «Потемкин» —
Да только с победным концом...

– Вы понимаете, – выдержав паузу, снова заговорил Марк. – Это же даже декламатору нелегко выучить, расставить всю орфоэпию, а тут – птице! А народу все равно! Народ будет смеяться, потому что попугай стихи читает...

Разволновавшись, Иванов вспотел. Вытащил из нагрудного карманчика пиджака носовой платок. Вытер лоб.

Девушка молчала.

Сосед по купе ей внезапно разонравился.

«Сейчас, – думала она, – во время индустриализации, во время таких сверхдальних перелетов, когда страна каждый день переживает то, что другие страны переживают сто лет, жаловаться? Плакаться? Волноваться до пота на лбу из-за смешных мелочных проблем?»

– Выйдите, пожалуйста, – проговорила Клава серьезным голосом. – Я переоденусь и буду уже укладываться.

Марк послушно встал. Впихнул Кузьму обратно в клетку и дверцу закрыл.

Вышел. В коридоре вагона никого не было. Пели свою песню колеса, словно с рельсами в считалочку играли.

За окошком, вымытым и широким, проезжал мимо поселок, крыши которого освещались высокими фонарями.

«Пусть сердится буря, пусть ветер неистов, – зашептал сам себе Марк окончание «Комсофлотского марша». – Растет наш рабочий прибой. Вперед, комсомольцы, вперед, коммунисты, Вперед, краснофлотцы, на бой! Вперед же по солнечным реям На фабрики, шахты, суда! По всем океанам и странам развеем Мы алое знамя труда».

Дочитав, Марк прильнул лбом к холодному стеклу окна.

Снег не шел.

Марк пожал плечами и покосился на дверь в свое купе, думая: подождать еще или постучать и спросить, можно ли вернуться на свое место?

Глава 13

Сон, сковавший разум и тело Добрынина на время полета, был сильным, как Жаботинский, но и у него не хватило сил удержать народного контролера в своих объятиях до момента приземления. Отчасти виной этому был и конь Григорий, время от времени требовавший еды, но главной причиной, конечно, являлась непомерная длина этого перелета. Часы проскакивали как минуты. Два раза пробуждавшийся Добрынин замечал, как летчик, сидевший впереди наискосок от него за штурвалом, вдруг отвлекался от своего дела и под заводил ручные часы. А внизу, за круглым иллюминатором, виднелось что-то белое и бесформенное, но все равно Добрынин ощущал в себе в минуты бодрствования удивительную гордость за то, что так высоко он попал по распоряжению руководства Советской страны, по поручению Родины, которая и сейчас бесформенно лежала внизу, то ли скрытая облаками и атмосферой, то ли на самом деле такая нечеткая и белая.

Мысли о Родине как-то сами собой уменьшились в объеме в том смысле, что Родина в них становилась все мельче и мельче, пока не понял Добрынин, что думает теперь о родной деревне Крошкино, которая тоже была родиной, но только родиной с маленькой буквы, очень маленькой родиной, родиночкой, так сказать. И вот в его полудрежном сознании возникла такая любимая картина, изображавшая и часть улицы с его двором и домом, и жену Маняшу, кормящую младенца грудью, сидя на скамейке за калиткой, и Дмитрия, Митьку – любимого пса, такого теплого и юливого добряка с вечно поцарапанным мокрым носом и таким звонким лаем. И так тепло и уютно стало в этой дреме, что Добрынин еще сильнее зажмурил уже закрытые глаза.

– Эй! – отвлек его окрик летчика.

– Чего? – не совсем довольно проорал в ответ Добрынин, перекрывая голосом гул двигателя.

– Иди сюда, штурвал поддержишь, а то я в сортир хочу... – по-свойски, но не без уважения объяснил криком летчик.

Павел подошел, летчик усадил его на свое место, показал, как держать штурвал, и пролез куда-то в хвост самолета, туда, где находился конь. Не было его минут пять. Руки у Добрынина затекли, и он понял, какая это каторжная работа – держать штурвал. Ведь только когда ты держишь его в руках, ты ощущаешь все это дрожание огромной машины и сам дрожишь вместе с ней.

– Ну хватит, отцепляйся! – орал, стоя над своим местом, летчик, а Павел никак не мог убрать руки со штурвала – они словно приклеились.

Наконец летчик помог Добрынину, перехватил у него штурвал и уселся перед пультом.

– А где здесь туалет? – поинтересовался народный контролер, все еще слыша дрожание в своих руках.

– Там, за лошадью, ведро стоит... – объяснил летчик, внимательно изучая скачущие стрелки приборов.

В полумраке грузового хвостового отсека самолета Добрынину не сразу удалось отыскать нужное ведро. Сначала он чуть не упал, споткнувшись о ноги разлегшегося коня Григория, но потом, когда глаза уже чуть привыкли к полумраку, нашел и, сделав свое дело, вернулся в кабину.

– Снижаемся! – прокричал, обернувшись, летчик и ткнул пальцем вниз.

Добрынин снова выглянул в иллюминатор, но ничего конкретного внизу разглядеть не сумел. Разве что действительно увеличилось в размерах что-то бесформенное и белое, бывшее, должно быть, или облаками, или частью Родины.

Добрынин не знал, что там делал со штурвалом летчик, но самолет вскоре стало бросать в стороны, конь Григорий испуганно ржал, да и у самого Павла перехватило дыхание и закружилась голова. Все это продолжалось довольно долго, пока вдруг Добрынин не почувствовал некоторое облегчение и, все еще ощущая неприятную горечь во рту, потянулся к иллюминатору и снова заглянул вниз. А внизу, совсем рядом, под самолетом, разлеглись снежные поля и холмы, и стадо каких-то животных неслось наперерез полету стальной птицы, а чуть в стороне извивалась голубоватая на общем фоне дорожка или полоса, и, самое удивительное, не было видно ни одного деревца, ни одного леска.

– Где это мы? – прокричал Добрынин летчику. Тот обернулся.

– Булунайба! – ответил.

– Чего?

– Город так зовется! – прокричал летчик.

Добрынин возвратил свой взгляд на иллюминатор и стал выискивать внизу город, но там по-прежнему продолжалась снежная пустыня, и даже то стадо животных, что бежало наперерз летящему самолету, куда-то скрылось. Он хотел было снова спросить летчика, но на этот раз уже строже, чтобы тот не мог отделаться от вопроса народного контролера таким несерьезным образом, но тут увидел на снегу три округлых строения и подумал, что вот и первые домики начинающегося города. Однако домики остались позади, а впереди снова белела пустыня без признаков человеческой жизни.

– А где город? – снова спросил Добрынин.

– Пролетели! – ответил летчик.

– А я не видел! – Добрынин огорченно развел руками.

– Три дома было! – крикнул летчик.

– Три дома видел! – крикнул в ответ Павел.

– Это и был город!

– Три дома – это город? – Добрынин уперся удивленным взглядом в обернувшегося к нему летчика.

– Да, – крикнул тот. – Три дома – город, два дома – поселок, один дом – село. Здесь Якутия, так принято...

– Так принято? – повторил сам себе народный контролер, с трудом усваивая якутское понятие города.

Он еще разок бросил взгляд вниз, потом проверил под сиденьем – на месте ли его котомка и, успокоившись, стал терпеливо ждать обещанного приземления.

Прошло еще некоторое время, и самолет, содрогнувшись от встречи с родной землей, побежал по снежному полю, дрожа и подпрыгивая.

Добрынин пережил кратковременный испуг, но сразу после касания земли перешел этот испуг в любопытство, и контролер, словно птица, закрутил головой, стараясь смотреть сразу в две стороны: и в иллюминатор, и в переднее окошко, сквозь которое, правда, ничего видно не было. А в иллюминаторе появился домик небольшого размера с уже знакомым по московскому аэродрому сачком ветроопределителя. Там же, рядом с полосатым сачком, развевался на ветру красный флаг и уж куда-то совсем ввысь устремлялась с крыши какая-то железная труба, тонкая и сужающаяся кверху. Из дома вышел человек нормального роста, только в толщину он был как-то великоват, и пока самолет не подкатил почти к самому домику, Добрынин не мог разобрать, отчего этот человек такой толстый. А когда уже самолет подкатил и остановился, то ясно стало народному контролеру, что это одежда у него такая.

Затих уже и двигатель в самолете, поднялся со своего места летчик и, чуть шатаясь, прошел за спину Добрынина. Заскрежетал железом, открывая люк-выход в боковой стенке. А сам Павел чувствовал неприятное брожение в животе и общую слабость. Ноги не слушались мысленного приказа и не желали поднимать тело.

– Ну давайте, поднимайтесь! – все еще слишком громко, словно в ушах по-прежнему гудел мотор, проговорил летчик.

Добрынин напрягся, уперся руками в подлокотники и встал.

Спрыгнув на землю вслед за летчиком, Павел едва устоял. Кружилась голова, и если бы не крепкое рукопожатие встречавшего их человека – лежал бы он на этой мерзлой земляной корке, припорошенной снегом.

– С прибытием! С прибытием!! – радостно тряс руку контролера тепло одетый человек.

Постепенно ощущение равновесия начало возвращаться к Добрынину, и он, выдавив улыбку и одновременно пытаясь разобраться, что происходит с кожей лица, проговорил встречающему:

– Здравствуйте... Спасибо...

И тут же почувствовал, как еще сильнее защемила кожа щек, и, видно, чувство это отразилось и в выражении лица Добрынина, так как человек вдруг посерьезнел и, метнувшись в домик, выбежал оттуда через полминуты с какой-то баночкой в руках.

– Сейчас, – говорил он докторской интонацией, черпая двумя пальцами из баночки какую-то мазь и размазывая ее по лицу прибывшего. – Это ж закон физики... на тепле все расширяется, а на якутском холоде все сжимается... так... ну как, легче?

Добрынин едва заметно кивнул.

– Валерий Палыч! – крикнул человек летчику. – Заходи, чай разогрей, – а потом продолжил, уже глядя на Добрынина: – Так вот, говорю, на таком холоде все подряд сжимается... год назад тоже прилетал самолет и привез – мне из дома передали – огурец тепличный, он же, знаете, какой длинный... а как только вытащили его прямо тут, на поле, чтобы показать, так он на наших глазах и сжался, и стал с гулькин нос. Страшно смотреть было! Ну вот, хватит. Пойдемте в дом!

Как только зашли в домик, хозяин протянул Павлу толстенный кожух на белом оленьем меху.

– Одевайтесь, будете привыкать к климату. Кстати, я же не сказал, что меня Федором зовут.

– Павел Добрынин, – представился народный контролер, натягивая на себя кожух.

Валерий Палыч, летчик, накачивал слабо горящий примус, на котором восседал начищенный до блеска медный чайник.

Домик был однокомнатный с печкой-буржуйкой, сделанной из бензиновой бочки. Печка стояла прямо посередине для равномерного отопления, а под единственным в домике окном стоял стол.

Уже сидя за столом, застегнув выданный кожух на все пуговицы, Добрынин дотронулся до щек – вроде кожа успокоилась и больше не щемила.

– Хорошая мазь, – желая сказать что-то приятное хозяину, проговорил Павел.

– Ага, – кивнул Федор. – Это военная, для войны в Заполярье. Тут недалеко склады есть...

– А что, здесь и войска рядом? – поинтересовался Павел.

– Не, рядом тут ничего, кроме трех якутских городов. Это просто военные склады на случай войны. Я, когда тепло было, ходил туда пару раз...

– А что, здесь и тепло бывает? – удивился Добрынин.

– Конечно, бывает, в июле здесь иногда до нуля доходит, а обычно летом всего минус семь-десять...

– Федя, что у тебя с примусом? – перебил хозяина летчик. – Я уже замотался с ним...

Федор обернулся, уставился на примус, помолчал минутку, потом спросил:

– А может, там керосин кончился?

Летчик проверил. Федор оказался прав, керосина там не было, и пришлось Валерию Павловичу идти с грязной банкой к самолету, слить из бака немного горючего.

Наконец чай был готов и разлит по жестяным кружкам, на которых особым способом был выдавлен самолет и надпись «ОСОАВИАХИМ». К чаю у Федора были консервированные военные галеты, которые перед употреблением рекомендовалось на пятнадцать минут замачивать в теплой воде.

– У меня там сухари есть, – вспомнил Павел.

Летчик снова сходил к самолету, принес котомку Добрынина. Когда контролер высыпал сухари из мешочка на стол, оказалось, что два сухаря надкушены.

– Один из них товарищ Калинин кусал, – заметив вопросительный взгляд Федора, ответил Павел.

Два надкушенных сухаря положили обратно в мешочек.

– Завтра за вами приедет комсомолец Цыбульник на аэросанях, – говорил, фукая на чай, Федор. – Он вам все объяснит... поедете с ним в город Хулайбу...

Павел пил чай, кивал и, ощущая в себе присутствие беспокойства, пытался понять его причину. И вдруг понял.

– Товарищ летчик, – повернулся он к Валерию Павловичу. – Там же конь остался, в самолете... Надо бы накормить, согреть немного...

Летчик задумался.

– Да, Валерий Павлович, – обратился к летчику и Федор. – Ты мне это, дров привез?

– О чем речь, Федя! Конечно! И береза, и сосняк! – улыбнулся во все зубы летчик. – А ты сейчас чем топишь?

– Дерном, – ответил Федя. – В самый теплый день посрезал лопатой, землю чуть постриг, потом высушил, и вот, горит немножко. Хотя запаха никакого...

Добрынин нахмурился, будучи недовольным потому, что про его коня забыли. Нахмурился и уставился на летчика недружественным взглядом. Но летчик был парень хороший, только чуть рассеянный, и по этой самой рассеянности и забыл ответить на вопрос Павла, а как только почувствовал на себе недобрый взгляд – сразу вспомнил в чем дело.

– Да, – закивал, глядя на Добрынина. – Надо коня выгрузить... Счас, только чай допьем...

И действительно, как только допили они чай из симпатичных «осоавиахимовских» кружек, поднялся летчик, кивнул Федору, мол, тоже вставай, поможешь; и вышли они вдвоем на мороз.

Пройдя несколько метров, Павел снова ощутил щеками холод, но уже не так сильно щемило, да и чай помог разогреться. Так что не очень-то он обратил внимание на суровость северного климата.

У самолета все трое остановились, поразмышляли вслух, как лучше коня вытащить. Ведь если просто вытолкнуть его – может ноги сломать, все-таки не бог весть как высоко, но конь – не человек, к таким прыжкам не приспособлен. Кончилось тем, что вынесли из домика стол, поставили его прямо под выходом-люком, а сами забрались в самолет и общими усилиями подтолкнули коня Григория к выходу. Тут он, может быть, из-за морозного воздуха, упрямылся минут десять, но все-таки в конце концов прыгнул на стол, пробив в его поверхности одним копытом дырку, а уже со стола и на землю. И сразу закрутился, замотал головой огромной, заржал.

– Видать, холодно ему, – взволнованно сказал Павел и, схватив Григория под уздцы, повел в дом.

Следом Федор и летчик внесли поврежденный стол.

В этот раз Павлу показалось, что в домике, пока они отсутствовали, стало холоднее. Он хотел коня заставить улечься под свободной стеной, но конь наотрез отказывался, и тогда Добрынин махнул рукой.

Федор сходил за дерном и принес его целую грудку. Сушился дерн на наружной стороне дома на гвоздях, обильно вбитых в бревна стен.

Буржуйка радостно зашипела, получив топливную подкормку. А Павел, оставив коня в покое, взял кастрюльку, набрал-наскреб за домом снега, и, вернувшись, поставил кастрюльку у печки. Растопится снег – конь воды напьется.

– Может, сразу и дрова выгрузим? – предложил Федору летчик.

– Та чего спешить! Ты ж еще несколько дней пробудешь! – ответил на это Федор.

Выпили еще чая, потом Федор подошел к стоящей в углу на тумбочке аппаратуре, что-то там сделал, и в комнате раздался писк.

– Это что там? – поинтересовался народный контролер.

– Радиостанция! – горделиво ответил хозяин домика. – Надо ж радировать, что вы долетели!

– В Москву? Товарищу Калинин? – обрадовался Добрынин. – А привет от меня передать можно?

– Нет, – замотал головой Федор. – У нас тут субординация... Я буду радировать в Хулайбу, это город ближний, километров триста отсюда, оттуда прорадируют в Якутск, оттуда в Хабаровск, из Хабаровска в Москву, а уже из Москвы – в Кремль. Вот!

– Можно и прямо в Москву, – сказал, заметив, что Добрынин чуть погрузнел, летчик. – Только не положено, могут за это Федю с работы снять.

– А-а-а, понятно, – протянул Павел. – Значит, порядок такой.

– Да, – кивнул Федор. – Порядок. – И в подтверждение этого развел руками.

Потом он уселся на табурет перед радиостанцией, настраивал ее, крутя какую-то черную штучку то влево, то вправо, потом надел наушники, и разнеслась по всей комнате музыка Морзе – даже конь Григорий запрядал ушами, не понимая этих звуков.

Добрынин завороченно следил за Федором, а Валерий Палыч с интересом наблюдал за народным контролером, который подкупал летчика своей простотой и такой не свойственной для этой простоты должностью.

На улице начинало темнеть.

Федор, сняв с головы наушники, опустил их на поверхность радиостанции. Был он чем-то расстроен.

– Что там? – спросил летчик.

– Да все нормально, передал, – отмахнулся Федор. – Просил Полторанина, чтобы он мне что-нибудь из свежих газет прорадировал, а ему Кривицкий не разрешил!

– Да-а, – сочувственно промычал летчик; потом подошел к окну. – Темнеет уже... А я-то опять забыл тебе газеты привезти.

– А здесь когда светает? – спросил Добрынин.

И летчик, и Федя посмотрели на него с некоторой малозаметной ухмылкой.

– Месяцев через пять-шесть, – спокойно произнес Федор.

– Что?! – вырвалось у контролера. – Как это?!

– Полярная ночь, – значительно произнес летчик. – Здесь все длиннее, и ночь, и день.

– Так это что, теперь полгода темно будет?! – переспросил Павел.

– Да, – кивнул летчик. – Есть, кажется, планы поставить тут мощные электростанции для ночного освещения советского Заполярья, но это намечено только на седьмую пятилетку.

– Эт нескоро... – согласился народный контролер.

Заметив, что вода в кастрюльке растаяла, он взял эту кастрюльку и поставил прямо под мордой коня. Григорий наклонился, стал жадно пить.

– А чем кормить его... – растерянно произнес Павел. – Сено есть у вас?

– Да откуда же?! – ответил невесело Федор. – Здесь же кони даже не водятся!

– Слушай, – оживился вдруг Валерий Палыч. – А у тебя есть запасная подкова?! Вот бы здесь на дверь прибить!

– Нет, – со вздохом ответил Павел. – Не дали с собою.

– Плохо, – покачал головой летчик. – Висела бы на счастье. Как у меня дома.

– Ничего, что-нибудь придумаем, – успокоил Добрынина Федор. – Галеты ж он будет есть, только размочить их надо. У меня и тут банок десять, а там, на военном складе, их страшное количество.

Растопив еще полкастрюльки снега, вытрусил туда контролер три консервных банки галет, и сели они втроем за стол играть в домино. Дырку, пробитую копытом Григория, накрыли керосиновой лампой, которую пришлось зажечь из-за проникавшей через окно темноты. На примус снова поставили чайник, доверху наполненный снегом, а в печку-буржуйку накидали еще бурого сухого дерна.

Конь стоял тихо, словно понимал, что накормить его сразу же возможности нет. Стоял и косил одним глазом на прислоненную к печке кастрюльку, в которой плавали черненькие круглые галеты, набухая водой и постепенно становясь пригодными в пищу.

Добрынин оживился во время игры, и настроение его, прямо скажем, улучшилось. В домино выучился он играть в сельском клубе, учил его молодой учитель математики, присланный к ним в село для борьбы с неграмотностью. Вот и сейчас, пытаясь сделать «рыбу», вспоминал Добрынин с благодарностью того белобрысого худого паренька в круглых очках и в общем-то одного с ним возраста. Пробыл он у них в Крошкино почти год, а потом перебросили его куда-то дальше, в самую глушь, в какую-то деревню, где вообще, говорили, не было ни одного грамотного жителя.

Федор и Валерий Палыч в домино играли слабовато – это Добрынин почувствовал сразу и уже минут через десять выиграл первую игру, поставив-таки свою любимую «рыбу» по шестеркам.

Загорелась вдруг на радиостанции зеленая лампочка, и Федор подскочил к тумбочке, надел наушники и присел на стоявший там табурет. Потом отстучал что-то, видимо, в ответ на сообщение.

– Ну, что там? – спросил летчик, когда Федор вернулся за стол.

– В Хулайбе пурга начинается, может и сюда прийти, – ответил Федор.

Валерий Палыч встал.

– Пойду поставлю самолет впритык к дому, – сказал он и, нахлобучив на голову теплый летный шлем, вышел.

Играя вдвоем, Федор и Добрынин слышали, как летчик запустил винты, отчего стекла в единственном окне домика задребезжали, а минут через пять снова стало тихо.

Вернувшись, Валерий Палыч сбил с ног снег, стянул с головы шлем и присел у печки, выставив к горячему железу руки.

– Ветер с востока, – сказал он. – Я самолет за дом загнал, а то еще занесет, а ведь при порывах и перевернуть может. Знаю я эти пурги.

Вскоре решили ложиться спать. Федор бросил на пол вокруг печки несколько хороших оленьих кожухов.

– Это я со склада военного как-то принес, полезные вещи! – объяснил он.

Спать улеглись треугольником вокруг печки-буржуйки, накрывшись такими же кожухами. Керосиновую лампу затушили, дверь заперли на тяжелую чугунную задвижку.

Добрынин хотел было спросить у Федора: от кого, мол, они запираются, но промолчал, решив, что это порядок такой, а порядок не обсуждают.

Сначала на полу было вроде холодновато, и миллиметр за миллиметром непривычный к таким ночевкам Павел придвигался к буржуйке, но в какой-то момент стало ему жарко, и он чуть отодвинулся, таким образом найдя самое удобное для хорошего сна место.

Снился ему собачий лай и родное село. И то, как выходил он ночью за дом по туалетной надобности, а с неба на его глазах срывались одинокие звезды и падали где-то в районе Маняш-енковска или же в другой стороне, но почему-то падать на его село избегали. Может быть, это было и к лучшему, потому как натуральный размер таких звезд Павел не знал, а значит и возможный ущерб от их падения на дома или же на посевы предвидеть не мог. Но главное, что падали они невероятно красиво, и эти яркие хвосты, тянувшиеся за ними, завораживали Добрынина, заставляли думать о чем-то высоком, о небе, а так как Добрынин почти ничего о небе не знал, то и думалось ему на эту тему тяжело. Иногда подходил он ночью к Митькиной будке, и смотрели они на звезды вместе с псом, и пес, дурак дураком, тоже следил за этими звездами и лаял на них громко, до хрипоты, отчего пробуждалась раньше времени в доме Маняша и потом мягко вычитывала Павла за неразумный шум.

Непривычным было и пробуждение Павла. Сковывавшая взгляд темнота обезоруживала его. За стенами дома завывала пурга, о которой их предупреждали по радиостанции, но она не заглушала двойного здорового храпа летчика и Федора.

Добрынин поднялся, зажег керосиновую лампу, поставил перед Григорием кастрюльку, в которой военные галеты размокли до состояния каши, потом уселся за стол у окна и попытался что-нибудь в этом окне высмотреть, но там была такая темнота, чернее которой он никогда в жизни не видел.

Сидел он за столом в полном безделии довольно долго, до тех пор, пока не проснулся Федор, который тут же растормошил Валерия Палыча.

Отобрав у коня Григория уже пустую кастрюльку, Федор выставил ее на мгновение за дверь и тут же втянул обратно, уже заполненную снегом. Поставил ее у печки и принялся растирать красную, словно ошпаренную руку.

– Ну и метет! – проговорил он. – У вас там такого, наверное, не бывает.

– Сейчас вроде не бывает, – ответил Павел. – А до революции частенько бывало, мне мать перед смертью рассказывала.

– Ну, до революции всякое бывало, – согласился Федор. – Эй, Палыч, достань-ка из-под радиостанции мешочек с пшенкой и коробку с солью!

Летчик достал, что сказали. Федор высыпал в кастрюльку две «осоавиахимовские» кружки крупы и пригоршню соли, а после поставил будущую кашу на примус.

Конь зафыркал, обратив этим на себя внимание. Дышал он как-то странно, с сипением, и из-за этого подумал Добрынин, что животное могло простудиться.

– Надо бы ему чаю сделать! – кивнул на коня Федор. – Хотя я не знаю, они чай пьют или нет?

Павел пожал плечами. На этот вопрос он ответить не мог.

– А может, просто воды нагреть, с остатками каши? – предложил летчик.

– Ну, воды нагреть можно, – согласился Федор, – только боюсь, остатков каши не останется: вчера ж ничего путного не ели.

В этом Федор оказался прав. Каши даже им не хватило. Добрынин чувствовал в себе силы по крайней мере еще для одной такой порции. Летчик открыто сказал, что это и на треть летного пайка не было похоже.

Поставили на примус чайник, а в кастрюлю тем же образом набрали снега и поставили ее опять к печке, чтобы нагреть коню воды.

Так началось ожидание окончания пурги.

За окном завывала, буйствовала, сотрясая стены, неуправляемая стихия северной природы, а внутри дома жили обыкновенным образом привыкшие к трудностям люди, варили пищу, подогревали воду для коня Григория, который от этой воды не отказывался, но все так же сипло дышал и фыркал.

Запах в помещении из-за присутствия коня изменился, но все трое обитателей относились к этому спокойно и без возмущения, только время от времени заталкивали навозные лепешки в самый угол дома. Пили чай, играли в домино, о чем-то говорили.

Прошло три дня, и Добрынина стала одолевать скука, о чем он, правда, не признался. Как обычно, с утра выпили чаю, засели у окна за столом, перемешали костяшки домино и начали играть. Свет от керосиновой лампы не был ярким, но, отражаясь в темном окне, он двоился, и это почему-то нравилось Павлу.

– У кого один-один? – задал вопрос, произнесенный уже раз тридцать или даже больше за последние три дня.

Нужный дупль выложил на стол Федор.

Игра игралась как-то слишком серьезно, без обычного азарта с громкими словами, прибаутками и ударами костяшками по столу. Игра проходила по-деловому, словно все трое были заняты серьезной работой. И, совершенно не касаясь игры, звучал над столом разговор.

– Я же здесь большей частью один, – говорил Федор. – Ну когда там лето, не так, чтоб очень холодно, то я всегда на улице, на солнце смотрю, иногда найду где-нибудь совсем оттаявший кусочек земли, а там обязательно какая-нибудь травинка растет. Смотришь на нее, и так приятно, тепло делается. Ну а если прогуляться хочется, то я пешком на тот военный склад. Пороюсь, обязательно что-нибудь путное найду и тащу его сюда, чтобы прогулка и полезной была. Нашел там болванки овальные из специальной твердой пасты для натирки блестящих предметов – там так и в инструкции сказано. Вот я отколол кусок грамм в триста, принес и всегда, если погода не очень хорошая – сажусь тут у окна и начищаю этой пастой и чайник, и бляху от ремня.

Добрынин посмотрел еще раз на чайник – блестел он, конечно, знатно, не даром, впервые увидев его, народный контролер искренне удивился.

– Шесть-три, – положил костяшку легчик, тоже кося глазом на чайник. – Поставлю я его еще разок, там чай есть еще?

– Да заварки тут навалом, – ответил Федор. – Жалко, конфет нет... Да и галет только одна банка осталась. Конь сегодня перетерпит, а завтра, может быть, и пурга кончится, тогда вместе на склад сходим и наберем столько, чтобы мне на полгода хватило...

Павел хотел было вступить за коня, но потом решил, что прав Федор. Все-таки в жизни главное люди, а конь, он где-то на третьем месте, после собаки, которая, как известно, первый друг человека.

Конь, словно понял, что о нем речь, снова зафыркал, и послышалось в этом фыркание неудовольствие.

– Ну а что, там люди живут? – не отрывая взгляда от своих костяшек, спросил Добрынин.

– Где? – недопонял Федор.

– На складе...

– Нет, – отвечал хозяин домика. – Не живут.

– И что, не охраняет никто?! – в голосе Павла прозвучало удивление.

– Да от кого ж охранять, если в округе один я живу... А сколько я там взять могу, если у меня ни вездехода, ни аэросаней нет? – Федор замолчал на минутку, выложил сразу два дупля, шестерочный и троечный, и продолжил: – Солдат там двое раньше было, но замерзли они насмерть.

– А чего? – сделав свой ход, спросил Валерий Палыч.

– Из-за бракованных спичек, говорили. Их перед самым началом пурги привезли на вездеходе, сбросили им целый ящик этих спичек, а там что-то с серой не в порядке было, она дымилась, но не загоралась, в общем они так и не смогли печку растопить... А хорошие спички в закрытом запасе склада были, но ключи от этого запаса только у полковника Баранина. Вот и замерзли, тоже такая пурга была, а может, еще и посильнее...

Павел в мыслях пожалел несчастных солдат и пришел к выводу о том, что будь на той спичечной фабрике народные контролеры – не разрешили бы они такие спички выпускать... Вот и получился в мыслях у Добрынина наглядный пример незаслуженной гибели по вине недобросовестности и отсутствия контроля. Вспомнил он и то, как горячо и с уважением говорил о контролерах товарищ Калинин, и еще раз осознал свою ответственность. Так хотелось уже выбраться из этого пургового плена, чтобы добраться до какого-нибудь пункта и заняться порученным ему Родиной делом.

– Кончил! – как-то по-деловому и совсем нерадостно провозгласил Валерий Палыч.

Павел подсчитал свои очки – мелочевка, одиннадцать. Записывать нечего.

Федору не так повезло, у него набралось тридцать пять очков, и летчик вписал эту цифру в соответствующую графу расчерченного листа «Тетради для записи радиogramм».

– Ну что, не пора ли нам обедать?! – летчик обвел товарищей взглядом.

С Валерием Палычем согласились, но буквально через минуту Федор грустным голосом сообщил, что крупы осталось полкружки.

В это время за окном как-то особенно протяжно завывала пурга, и из-за этого слова Федора прозвучали по-настоящему горестно.

В полном молчании варили эти остатки, добавив туда соли больше нужного. Открыл летчик последнюю банку с галетами. А Павел размотал затяжную веревку на котомке и вытащил оттуда три целых сухаря, по штуке на каждого.

Так же молча обедали, поделив еду поровну. Только конь Григорий остался без еды, но зато воды ему растопили целую кастрюлю. Пил он воду медленно, как бы нехотя; а когда смотрел на людей, сидящих за столом, то бил по деревянному настилу пола копытом, словно и в самом деле требовал к себе хорошего отношения.

Чай в этот раз получился очень крепкий – ведь это было единственное, чего можно было не жалеть. Павел, не привыкший к такому густому чайному вареву, да еще и без сахара, больше дул на кружку, чем пил.

И вдруг Григорий, толкнув от себя кастрюлю, разлил воду по полу, а сам после этого отпрыгнул в сторону стола, отпрыгнул как-то боком и чуть не зашиб сидевшего ближним к нему летчика, хлестнув того хвостом по лицу.

Валерий Палыч вскочил.

Павел, знавший правильное обращение с лошадьми, тоже встал, в два шага подошел к животному и, хлопая его обеими ладонями по боку, стал оттеснять на положенное место.

Конь заржал, однако повиновался.

Летчик снова сел, с опаской поглядывая на взбунтовавшегося коня, размазал рукавом по кожаной летной куртке пролитый чай.

Федор размачивал добрынинский сухарь, болтая им в кружке словно ложкой. Он, казалось, и напуган не был происшедшим, и вообще не принял никакого участия в последовавшей затем суматохе. Сразу показала себя северность его природного характера.

А за окном все набирал снежные обороты пропеллер пурги, наполняя законное пространство громогласной смесью живых плачущих и воющих звуков.

– Я думаю, – отпив чаю, заговорил спокойный Федор, – как поутихнет, придется нам на склад идти. Какой смысл голодать, когда совсем рядом все есть. Да и похоже, что голодный конь поопаснее голодного человека.

– А склад недалеко? – спросил уже успокоившийся летчик, поправляя свой шлем, который он даже ночью не снимал.

– Километра три, рядышком... Компас у меня есть, заматаемся потеплее и часа за три-четыре обернемся.

Добрынин задумался. В такую пургу, даже если она станет потише, выходить из дома ему не хотелось. И тут, словно услышав его мысли, Федор сказал:

– Ну, я думаю, товарищ Добрынин нас здесь обождет, за печкой присмотрит. Павел в знак согласия кивнул, вполне удовлетворившись таким поручением.

– А как нести будем? – спросил у Федора летчик.

– Да и нести не придется, – ответил хозяин домика. – У меня сани есть от собачьей упряжки, их нагрузим и оттащим сюда. Они у меня к стене приставлены, сразу за дверью.

На том и порешили. Допили чай, из-за чего у Павла во рту осталась очень неприятная горечь. Поговорили еще о чем-то неважном. Потом летчик подзавел свои ручные часы, а заодно сообщил товарищам и время – половина второго. После этого минут двадцать ушло на выяснение: какая же это часть суток, ночь или день. Спор прекратили, не придя к общему согласию, но утомившись достаточно. А утомившись, решили ложиться спать.

На следующее «утро» первым проснулся Федор. Он же и разбудил остальных. Часы у летчика показывали без пятнадцати двенадцать, но об этом спорить уже не стали.

За окном было действительно потише, и даже снежинки, цеплявшиеся к стеклу и сразу же отрываемые ветром, были хорошо видны.

Отсутствие шума и завываний воодушевило Федора, и он заспешил, засуетился, одновременно и чайник ставя, и разыскивая свои унты – в доме он носил высокие валенки без галош. Летчик собрался быстро, по-военному, натянув поверх довольно толстой летной куртки кожух на оленьем меху и застегнув его на все пуговицы и шейные крючки, затянул еще на себе офицерский ремень, найденный на полу возле радиостанции.

Одевшись, пили утренний чай, уже не такой крепкий.

Павел сидел расслабленно среди них, ощущая гордость за своих товарищей. Выдал он им и себе снова по штучке сухарей – галеты кончились прошлым днем – и теперь грыз свой сухарь, почти и не размочив его в чае, чтобы протянуть время еды подольше. Но Федор и Валерий Палыч спешили. Они закончили завтрак, когда у Павла оставались еще полсухаря и полкружки чая.

– Ну, счастливо, – пожелал им Павел, дойдя до двери. – Возвращайтесь быстрее!

Когда отодвинули металлический запор и приоткрыли дверь, сзади раздался грохот, и обернувшийся Добрынин увидел своего коня Григория в прыжке. Видно, застоявшийся жеребец хотел вырваться на волю. Добрынин рванулся вперед и, столкнувшись грудью с конем, уже падая от этого столкновения, успел схватить правой рукой за поводок и остановить Григория. Тут же поднявшись на ноги, Павел дал в сердцах коню две оплеухи и снова затолкал его к противоположной стенке, где он и стоял прежде. Конь повиновался неохотно, фыркал, крутил мордой.

– Давайте, пока я его держу! – крикнул Павел, оборачиваясь к остановившимся у двери товарищам.

Но тут конь снова рванулся, и Павел едва удержал его, притянув поводок к коленям.

Федор снова закрыл дверь.

– Давай мы его обманем! – предложил он. – Поиграем в домино, пока он не успокоится, может ты дашь ему пару сухарей... А как только успокоится – мы вышмыгнем!

Сели играть в домино. Сухарей Павел решил не давать Григорию. Во-первых, потому, что зол был, а во-вторых не считал он сухари лошадиной едой, тем более, что сушила эти сухари Маняша не для коня, а для самого Павла.

Только разыгрались, разобрали весь «базар», как заметили, что конь вроде успокоился, и тогда летчик и Федор быстрым шагом отошли к двери и вышмыгнули, а подбежавший Павел тотчас задвинул железную щеколду. Но похоже было, что спешил он напрасно. Конь стоял на месте, опустив морду и выискивая своим выпученным взглядом что-то на полу. Видно, хотел он увидеть перед собой сено или овес, но увидеть того, чего там не было, конечно, не мог.

Павел вернулся к столу, еще раз посмотрел на свои кости, изучил общую ситуацию в прерванной игре и пришел к выводу, что все зависит от того, кто имеет «пять-два». Но в любом случае шансы выиграть эту партию у него были хорошие.

За окном по-прежнему завывало, но привыкший к этому Добрынин не обращал особого внимания на заоконные звуки. «Пусть воет, – думал он. – Все равно мы победим! Все равно человек сильнее природы!»

Посидев без дела за столом, он, добавив в печку дерна, погрелся у этой бывшей бензиновой бочки, припомнил о дне, проведенном в Москве, о встрече с товарищем Калинин и, конечно, о книге, которую руководитель страны подарил лично ему с тем, чтобы прочитал он ее и усвоил то полезное, что в этой книге имеется.

Вытащив книгу из котомки, уселся Добрынин снова за стол, придвинул керосиновую лампу поближе и открыл второй рассказ, называвшийся «Ленин на елке». Название рассказа очень удивило народного контролера, но, поразмыслив, решил он, что в рассказе, наверно, говорится о детстве вождя и о том, как он, будучи ребенком, лазил по деревьям. Вспомнил Добрынин для достоверности мысли и свое детство и даже отыскал в памяти эпизод, как он, тогда, кажется, шестилетний мальчуган, упал с яблони на соседский забор и выломал спиной две досточки.

Но рассказ «Ленин на елке» оказался совсем о другом. В этом рассказе вождь пришел на новогодний праздник для детишек, который был организован в Кремле. Пришел он на этот праздник не случайно, а для того, чтобы улучшить его своим присутствием и сделать его еще веселее. Ходил он с детьми в хоровод вокруг наряженной елки, раздавал подарки, шоколадные конфеты и прочие сладости, с трудом собранные со всей Москвы, а под конец стал показывать детям фокусы, чем довел их до полного удовлетворения и поразительной радости.

Дочитав, Добрынин отодвинул от себя керосиновую лампу, чуть прикрутил пламя, чтобы керосин не расходовался быстро, и стал думать над полезным смыслом рассказа. Рассказ этот показался народному контролеру посложнее первого, в котором Ленин ел невкусный суп. В этом втором рассказе не было, как думал Добрынин, главного, не было простой и ясной морали: что надо делать или как надо делать. Задумавшись посильнее, Павел Александрович решил, что главное в рассказе не елка, вокруг которой Ленин ходил в хороводе, а что-то другое. То, что вождь показывал детям фокусы, было, несомненно, интересно, но и это не казалось главным. А значит, продолжал думать Добрынин, главное было то, что Ленин организовал эту елку и позвал на нее детей. И, конечно, то, что удалось ему собрать со всей Москвы в то тяжелое послереволюционное время гостинцев и шоколадных конфет. И тут понял Добрынин, что не совсем понимает то, о чем он думает. Ах, конечно, не понимает он, что такое шоколадные конфеты, точнее, не понимает одного слова – шоколадные. Просто конфеты он, конечно, кушал несколько раз в своей жизни, а вот шоколадные... И Добрынин еще немного подумал и решил, что это, должно быть, какой-то очень дешевый и невкусный вид конфет, которые едят только во времена разрухи и революций, иначе зачем было упоминать о них в рассказе. В общем, в итоге размышлений, пришел Добрынин к мысли, что детей надо как-то по-особенному любить и организовывать для них праздники. Важность этой мысли была, вроде бы, сомнительной, однако Добрынин быстренько избавился от этих сомнений, понимая, что мысли сомнительной важности не только в книгах, а и в газетах не печатают, а значит это он что-то недопонимает по причине своей простоты в умственном смысле.

Тем временем догорел в буржуйке дерн, и Добрынин подбросил туда еще бурого топлива, подбросил последние его комья, лежавшие на деревянном полу. Догорят они – надо будет выходить из дома в эту бушующую уже несколько дней пургу и нащупывать на бревенчатых стенах заготовленный Федором дерн, снимать, забрасывать внутрь и снова снимать, чтобы сделать запас на случай дальнейшего бешенства снежной стихии. Это, конечно, не радовало народного

контролера, но, надо сказать, и не огорчало, потому что с детства был он готов к трудностям и лишениям, и только сейчас, казалось, наступало их время.

Засипел, затряс головой конь Григорий, до того молчавший и не мешавший Добрынину думать.

Павел подошел к животному, заглянул в пустую кастрюльку. Понял, в чем дело, и, наученный Федором, резко открыл дверь, выставил туда кастрюльку, а через полминуты втащил ее обратно, наполненную снегом. Поставил у печки, а сам подумал, что не мешало бы уже и спать ложиться.

Но, хотя его и клонило в сон, подождал, пока не растает снег и не нагреется хотя бы немного вода, предназначенная для Григория. И вот только когда кастрюлька уже перекочевала к коню, потушил Павел Александрович керосиновую лампу и улегся около печки на подстиленный олений кожух, накрывшись таким же кожухом. Подумал, как трудно сейчас придется летчику и Федору, не дошедшим еще, наверно, до военного склада. Закрыв глаза и еще некоторое время слышал, как хлебают воду конь Григорий. Даже удивительно стало, что слышен был этот плеск воды в кастрюлке – видно, затихла немного пурга, а может, уже и заканчивалась она на счастье окружающей природе.

И в этой нарождающейся или же просто кажущейся тишине пришел к Добрынину сон.

Снилось ему, как проснулся он у себя в избе в селе Крошкино, выглянул в окно, а там метель метет. И вдруг стук в двери. Пошел в сени, открыл, а там весь такой легко одетый, в пиджачке и в жилетке Владимир Ильич Ленин. Отступил Добрынин в сторону, пропуская в дом гостя, а гость не один. За ним следом товарищ Калинин вошел, Дедом Морозом одетый с большим мешком в руках, а за ним – двое красноармейцев елку уже наряженную вносят. Занесли они елку в комнату, тут им Владимир Ильич показал место в самой середине, куда елку поставить. Поставили они елку, потом стол отодвинули в угол, а Ильич уже поворачивается к Добрынину, улыбается по-доброму и спрашивает мягко: «Дети есть?» «Да», – отвечает ему Павел. «А сколько?» – интересуется вождь. «Двое», – отвечает ему Добрынин. «Мало!» – говорит Ильич и дает красноармейцам приказ пойти по соседям и привести сюда не меньше пяти детей дополнительно к двум уже имеющимся. А потом опять на Добрынина смотрит и снова спрашивает: «А где они сейчас?» «Спят», – говорит Добрынин. «А ты буди их!» – как-то частовато кивая головой, говорит вождь. Подошел Добрынин к русской печке, сдернул со спавших малышей одеяло. Они сверху как котята только что родившиеся смотрят, глаза протирают сонные, понять ничего не могут, а дедушка Ленин им и говорит: «Новый год на дворе, а вы все на печке лежите! И не стыдно?!» Напуганные ребятишки спустились, побежали мамку искать, а ее нет. Они: «А мамка где?» «За подарками вам пошла!» – говорит Добрынин. Оделись ребятишки. А Ильич им говорит: «Становитесь вокруг елки, будем хоровод водить!» Стали мальчишка с одной стороны елки, девочка с другой стороны. Стоят, ждут. А Ильич часы на цепочке из кармашка жилетки вытащил, посмотрел на них, нахмурился и так нахмуренно на двери в сени стал глядеть. А там уже кто-то входит в дом. Двери открываются, и вваливается в горницу гурьба сонных ребятишек, а за ними два красноармейца с винтовками.

– Ваше приказание выполнено! – докладывает один из них Ленину.

Осмотрел вождь детишек, посчитал их и спрашивает:

– А вы родителям объяснили, зачем детей взяли?

– Так точно!

– Ну тогда хорошо! – лицо вождя приняло довольное выражение, и он, повернувшись и чуть наклонившись к детям, продолжил: – А ну-ка ребятишки, становитесь вокруг елки, будем хоровод водить...

Построились дети в круг, тогда Ленин поворачивается к Добрынину и Калинин и говорит:

– А вы почему стоите? Вы разве не будете с нами хороводиться? В общем, стали они в хоровод все вместе.

Ленин какую-то песню запел и направил движение хоровода и вдруг, на ходу, пока дети пели, обернулся к красноармейцам и приказал им выйти и стать на страже дома.

Красноармейцы ушли, и показалось Добрынину, что ушли они немного огорченные. Тоже ведь и для них праздник, а их в хоровод не поставили. Хотел было Добрынин попросить вождя за них, чтобы вернул он их в горницу, но потом подумал он, что, наверно, это порядок такой – надо кому-то на охране стоять, пока праздник идет, вот и промолчал. А товарищ Калинин, одетый Дедом Морозом, забрался под елочку, размотал свой мешок с подарками и стал конфеты и гостинцы разные на полу раскладывать. Наконец все разложил и вернулся в хоровод. Ходят они, ходят, у Добрынина уже и ноги заболели, а дети на эти подарочные кучки смотрят, и слюнки у них текут, а сказать ничего не могут – с колыбели к порядку приучены. Танцуют и ждут.

Тут Ильич остановил хоровод и говорит:

– А теперь, дети, я вам буду фокусы показывать.

И тут же к Добрынину оборачивается и спрашивает:

– У тебя в хозяйстве три наперсточка найдется? Для фокуса надо!

– Эт у Маняши спросить... – замялся Павел. – Вот придет она, я сразу спрошу...

– Ну ладно, – Ильич был, кажется, огорчен, но не унывал, тем более, что все дети ожидательно на него смотрели.

– А карты у тебя есть? – поинтересовался вождь у Добрынина.

– У меня, у меня есть! – обрадовался Калинин и, вытащив откуда-то с груди колоду карт, протянул вождю.

Вождь взял колоду. Присел на корточки. Потасовал карты хорошенько, а потом показывает маленькой соседской девочке Агафье нижнюю карту и говорит: «Запомнила?»

– Ага! – говорит девочка.

Снова растасовал карты Ильич, потом переложил их пару раз и вынимает точно ту же карту – шестерку пик – и показывает девочке.

– Эта? – спрашивает он.

– Эта, – кивает девочка.

– Ну а теперь ты! – говорит дедушка Ленин одному мальчику и показывает тот же фокус ему.

– А как вы это делаете? – спрашивает соседская девочка Авдотья, постарше Агафьи годика на полтора.

– А это секрет, – улыбается дедушка. – Это тайна.

Тут Маняша пришла, красная с мороза. Принесла пряников детям, а как увидела, что в горнице происходит, так и стала как вкопанная.

– О, а теперь с мамой хоровод водить будем! – обрадовался Ильич, поставил Маняшу в хоровод, и стали они снова вокруг елки ходить. Ходили долго, пока кто-то из детей не заплакал. Тогда дедушка Ленин остановил хоровод и сказал, что теперь можно и подарки получать!

Бросились детишки под елку, чуть не передрались, потому что перемешались кучки конфет и гостинцев, рассыпавшись по всему полу.

– Ай, – с сожалением мотнул головой вождь, поглядев на товарища Калинина с укоризной. – Кто же так подарки раскладывает?! Надо было обождать и потом сказать им, чтобы протянули тебе свои ладошки, лодочкой сложенные, а ты бы из мешка что-нибудь вытаскивал и по очереди в каждые ладошки...

Товарищ Калинин стоял потупив взор. Было ему стыдно за ошибку, но дедушка Ленин был отходчив и уже через пару минут похлопал он Деда Мороза по плечу и сказал:

– Ну что, надо дальше идти, нас еще много детишек ждет!

И вышли они, попрощавшись с Добрыниным и Маняшей. А потом забежали красноармейцы в горницу, забрали наряженную елку и ушли.

Вышел Добрынин им вслед посмотреть. Метель стала послабее, и видно было, как свернули все четверо на другую улицу, на ходу оживленно о чем-то беседуя и довольно громко смеясь.

Ушли они, а Павел все стоял и стоял, и метель после недолгого затишья снова стала набираться силы, закружила, завывала протяжно, зашвырялась в лицо Павлу пригоршнями сухого колкого снега. А он, словно и не чувствовал холода, стоял и так, стоя, засыпал, ощущая, как ему тепло и уютно внутри, несмотря на все эти завывания, которые он хоть и слышал, но доносились эти звуки до него как через толстую стенку, будто и впрямь он сидел дома, а метель бушевала на улице. А тут еще, несмотря на весь внутренний уют, скучно ему стало без Ленина... И пес Митька из своей будки подвывал метели нестерпимо жалостливо, по-сиротски. Захотел Павел погладить любимого пса, подошел к его деревянному жилищу, сунул руку внутрь и вдруг почувствовал резкую боль в пальцах, словно кипятком ошпарился.

– А-а-а! – закричал он во сне и проснулся, встревоженный и напуганный болью.

Оказалось, что погладил он печку-буржуйку, которая хоть и потухла почти, но все еще горячей была. Присел Павел рядом, фукая на пальцы правой руки, как на кружку с кипятком. Отошел немного, успокоился. Пожалел, что нет у него ни карманных, ни ручных часов, а то бы узнал примерно, как долго спал, да и сколько времени прошло с момента ухода Федора и летчика.

За окном по-прежнему завывало, буйствовало снежное месиво, взбитое ветром.

Встал Добрынин на ноги, зажег от уголька, взятого из печки, керосиновую лампу и стал собираться за дерном идти. Вытащил топор из котомки на всякий случай. Замотался покрепче в кожух. Посмотрел пристально на коня – тот стоял смирно. Поискал взглядом какую-нибудь корзину для дерна, но нашел только ведро, стоявшее под столом. Взял его и вышел в пургу. Руки леденели без рукавиц – ведь не снабдил его рукавицами Федор. Но не обращая внимания на снег, засыпавший глаза, повернул Павел от двери направо и пошел вдоль стенки, нащупывая руками дерн. Нашел какие-то смерзшиеся и приледеневшие к бревнам комья, но отодрать их от стены не мог, даже топор не помог в этом деле. Помучился Павел довольно долго, пока не почувствовал, что пальцы перестают слушаться. Только тогда вернулся он в дом, оставив ведро где-то под наружной стеной. Вбежал в комнату и сразу к печке руки греть. Грел долго и по тому, как легко было держать подмерзшие руки у самого металла бывшей бочки, понял, что начала она остывать. Занервничал, ведь страшно стало, когда вообразил он себе, что потухла буржуйка и стены и пол стали покрываться наледью.

Руки уже отогрелись, пальцы сгибались и разгибались, как и положено им человеческой природой. И вспомнил тогда Павел о дровах, привезенных Федору на самолете. Надо было идти туда, за дом, где Валерий Палыч поставил свою крылатую машину. Надо было идти, забираться внутрь, искать там дрова и тащить их в дом к печке, а то, не дай бог, вернутся Федор и летчик, а в доме мороз и два трупа: его, Павла, и коня его, Григория.

Взбодрился от этих мыслей Павел, взбодрился по-злему и, оставив топор на полу у буржуйки, снова пошел к двери. Выйдя, по стенке пробрался за дом, увидел высовывавшееся из снежного месива крыло самолета и нырнул под него. Добрался до металлической обшивки, снова замерзающими руками нащупал входной боковой люк, толкнул его и сам удивился, как легко он открылся – словно ветер помог. Может быть, и действительно помог ветер, и Павел, подпрыгнув, забрался в самолет – внутри этого бешеного ветра уже не было, и пополз он в темноте к хвостовой части, где должно было стоять туалетное ведро. Пролез пару метров, ощупал темноту вокруг себя и страшно обрадовался, когда ощутил задубевшей кожей пальцев шершавое сучковатое полено. Взял его, подгреб под себя, потом нашел еще одно, потом третье. Прижал эти поленья Павел двумя руками к груди и пополз к выходу. Там спрыгнул, дошел

до стенки дома вслепую и уже по ней добрался до двери. Ввалился, на ходу роняя поленья на пол. Снова отогрел немного руки и взялся за топор, предварительно задвинув чугунный запор на двери. Расколошматил эти три полена и самые мелкие щепочки забросил в печку, чтобы взялись они огнем от тлеющего дерна. А сам уселся на полу и стал ждать треска горящих дров. Загорелись, затрещали эти дрова в буржуйке довольно скоро. Павел, отдохнув, накачал примус, зажег его и поставил сверху чайник, в котором было еще много воды. Потом заварил чай и с дымящейся «осоавиахимовской» кружкой уселся за стол. Достал из котомки последние два целых сухаря, сгрыз их медленно, запивая маленькими глотками крепкого до горькоты чая. Стал с нетерпением ждать возвращения летчика и Федора, воображая себе, как втащат они в дом сани, груженные доверху всякой провизией. Опуская пустую кружку на стол, сдвинул он случайно длинную доминошную «колбасу» и тут же засуетился, подравнивая костяшки, чтобы ничего не перепуталось и можно было бы по возвращении товарищей доиграть, а точнее – выиграть эту партию, хотя все, конечно, зависело от того, кто имел костяшку «пять-два».

А за окном по-прежнему завывала занудливая пурга.

Делать было нечего, и Добрынин заварил еще чаю, вытащил два заветных надкушенных в Кремле сухаря, положил их перед собой на край столешницы, смотрел на них долго и пытливо, размышляя о странности человеческих привязанностей. И так, размышляя и не сводя с сухарей взгляда, он попил чай. Удивительным было чувство, возникшее у Добрынина по отношению к этим двум сухарикам, хотя и их судьба, если можно так назвать то, что произошло, тоже была удивительна и, как ни странно, напоминала ему, народному контролеру, собственную жизнь. И еще, продолжая свои мысли, понял Добрынин, что сам съесть эти сухарики не сможет, даже если выпадет ему от голода умирать. Хотя также он понял, что охотно отдал бы их товарищу Калинин, если б у того вдруг случились сложности с едой, и, может быть, даже смог бы он отдать один сухарь псу Митьке, но только в случае крайней нужды или очевидного присутствия в жизни пса чего-то губительного. О себе он не думал, не думал он и о летчике и Федоре, хотя относился к ним с уважением.

А за окном по-прежнему завывала занудливая пурга, на которую Добрынин уже научился не обращать слухового внимания. Ведь иначе он и думать бы не смог.

Чай надоел. Дрова снова догорали, и из-за этого косил Добрынин недовольно на прожорливую буржуйку и уже не думал – неприятно было об этом думать, – а чувствовал, что придется снова идти за дом, забираться в самолет, тащить оттуда несколько поленьев, которые тоже прогорят, и таким образом будет все повторяться, а до каких пор? Этого Добрынин не знал. То ли до возвращения ушедших за провизией товарищей, то ли до окончания пурги...

Нехотя поднялся Добрынин из-за стола, снова поправил на себе олений кожан, тяжело вздохнул и подошел к двери. Снял запор и только подтолкнул плечом дверь, как грохот обрушился на него сзади, и грохот этот каким-то физическим образом повалил его на пол, на порожек раскрывшейся двери, повалил и пронесся над ним, ничего не понимающим, прижавшимся правым виском к холодному дереву. Загудело в голове с такой силой, что все эти завывания пурги показались чем-то мелким, вроде звуков, издаваемых кузнечиками или сверчками. А тут еще хлынул в открытые двери холод, поплыл он в дом, перекачивая свои морозные волны через лежавшего в проеме двери человека. И понял человек, что если не соберет в себе силы, не отползет назад и не закроет двери – останется он так лежать навсегда или по крайней мере до возвращения товарищей. И развернулся неуклюже Добрынин, чувствуя странную скованность своего тела, развернулся и отполз, после чего притянул двери к себе, запирая их.

А за дверью, за окном, за стенами дома по-прежнему завывала пурга, в завываниях которой прозвучало несколько раз лошадиное ржание, прозвучало и пропало.

Понемногу приходя в себя, подмятый конем Григорием Павел уселся за стол, мрачно уставившись на два заветных сухарика. Нет, отношение его к этим сухарям не изменилось.

Изменилось что-то в его жизни. Изменилось жестко и в общем-то не только что, не с побегом коня, а чуть раньше, в момент, который нельзя было сейчас определить.

В доме стало намного холоднее, но Павел не шел к печке греть руки. Он снова думал о том, что все происходящее с ним в этом месте – настоящая борьба за жизнь с невидимым врагом, которым сейчас была природа. И вот, думая о врагах и помня, что жизнь – это и есть борьба, понимал Добрынин, что все самое трудное, вплоть до его смерти, еще впереди, если он, конечно, переживет эту пургу. Он снова сходил за дровами, чуть не поломав ногу, спрыгивая с самолета в непрозрачное снежное месиво с тяжелой охапкой поленьев в руках. Снова растрошил поленья топором, снова посидел возле печки, отогревая руки. Снова лег спать на полу у печки, придвинувшись к ее разгоряченному огнем металлу ближе обычного. И заснул, заснул тяжело, ощущая невероятно сильное притяжение земли. Это притяжение, казалось, хотело вдавить Добрынина в землю, втянуть его сквозь мерзлоту Севера, всосать или вжевать его в самый центр, в огненное ядро, составляющее вечно быющее и бурлящее сердце Родины. И вот, уже «занырнув» в то состояние сна, когда все кажущееся становится реальным, ощутил Добрынин, как проваливается его тело вниз, в темную, густую, как туман, бездну, проваливается и летит с такой скоростью, что свистит в ушах. А рядом с ним летит что-то еще, яркое до рези в глазах и довольно большое. Летит сорвавшаяся с неба звезда, и как-то так получается, что если попробует на нее посмотреть падающий Добрынин, становится ему невыносимо жарко, и он, используя только желание свое, а может быть, только мысль о желании, отлетает чуть-чуть в сторону, но все равно летят они вместе, почти рядом, вниз. И нет конца этому полету. Да и не хочется Добрынину упасть. Страшно ему упасть. Уж лучше лететь бесконечно. И вот летит он и замечает, что звезда начинает тускнеть, и через какое-то время загасает она, и уже тлеющий свет чего-то большого, летящего рядом виден Добрынину. И от этого становится Павлу холодно, и он, опять же используя какую-то свою силу, приближается на лету к этой умирающей звезде, приближается и дотрагивается до нее рукой. И пальцы ощущают холодный и не совсем гладкий камень, летящий рядом. А в ушах все еще свистит и завывает, и бесконечное это падение начинает утомлять Добрынина, и, утомившись чувственно, перестает он бояться и не обращает внимания на холод, обволакивающий его. На смену всем чувствам приходит безразличие, и уже совершенно все равно Добрынину: упадет он или продолжит проваливаться в неизвестное, которое может оказаться всего лишь его и всей страны будущим, будущим темным и бесконечным, наполненным летящими рядом с людьми вниз погасшими камнями звезд.

Глава 14

Во вторую ночь дороги к Новым Палестинам идущие задумались о пище, но только дезертир, тот, что первым предложил всем и двум красноармейцам сигануть за борт машины, заговорил об этом вслух и достаточно серьезно.

– Куда б ни шел, а первым делом живот набить надо хоть чем! – сказал он.

Согласиться с этим согласились, однако же согласиен сыт не будешь. И тут два красноармейца, уже, конечно, бывшие или по-иному сказать – беглые, проявили армейскую смекалку. Вызвались они добраться втихую до ближнего по дороге села и набрать там провианту от крестьян известным им способом.

На том и продолжили они свой ночной путь.

А сверху светили звезды, большие и малые, яркие и тусклые, и все у них, у звезд, было как у людей. И, возможно, рас и национальностей они были разных, и верою они, может быть, были различны и из-за того светили по-разному. И там, среди них, неяркая и ничем на небе не выдающаяся, но с огромною внутреннею магнетическою силою, совсем как человек русский, светила звезда по имени Архипка, светила и звала к себе, чтобы каждый, пошедший за нею, оказался на полпути в месте, о котором всякий на земле мечтает во снах и в жизни обычной.

А среди них, этих толп звездных, прохаживалась четверть луны, как конный милиционер посреди уличного многоголосья и безобразия. И точно вроде видно было идущим, как звезды, около которых эта лунная четверть оказывалась, светить начинали ровно и как бы охотнее, словно из-под палки или под надзором хорошего, но строгого небесного мастерового. Это и ангел заметил, шедший молча и в мыслях живущий ожиданием их входа в желанное место.

Ночная птица иногда пролетала над ними, издавая звуки загадочные и потусторонние. Что-то еще шумело в ночной природе, но шум этот был мелкий и безвредный.

– Огонек тама! – радостно воскликнул вдруг беглый колхозник, впереди шедший. Воскликнул так, что каждый вздрогнул, потому что каждый о чем-то своем потаенном думал, а не о самой дороге, по которой их ноги ступали.

– Где? – спросил, вглядываясь в равно темные стороны, красноармеец, обломавший ружье.

– Да вон, там! – указал рукою беглый колхозник.

Красноармеец пригляделся и действительно увидел тускловатый, послабее даже какой-нибудь едва видимой звезды, огонек.

Остальные тут же сгрудились за спиною у красноармейца. И тоже увидели тот огонек.

– Надо поближе подойти, а там мы уж и провианту раздобудем! – твердо пообещал бывший красноармеец.

Двинулись тогда все к этому огоньку, и уже не думали они о чем-то потаенном, а вполне человеческие мысли о пище занимали их головы. Разве что ангел о пище не думал, хотя есть и хотелось. А думал он совсем о другом. Думал он о том, как легко человек отказывается от предписанного ему пути, чтобы пойти к такому месту, где возможно по справедливости жить. И мысли эти не могли его не радовать.

Вскоре в синеватой ночной темноте различимы стали первые заборы спящего села. Там, перед этими заборами, и остались все, кроме двух беглых красноармейцев, пошедших в самое село за провиантом.

– Ну че, ангел, – зашептал в тишине первый дезертир, что был в «сарафанной» сорочке. – Рассказал бы нам что о Рае. А? Кто тебя знает, может, ты и действительно не чокнутый? Чокнутые, они без умолку болтают разное, а ты все молчишь, будто на самом деле что знаешь!

Удивился этим словам ангел, но удивился тоже молча.

– А что вам рассказать? – спросил он после короткого обдумывания.

– Ну, к примеру, что там едят? – предложил вопрос беглый колхозник.

– Паляницу белую едят и молоком запивают, – припомнил ангел.

– Парным молоком? – уточнил дезертир.

– Наверно.

– Ну а мясо?

– Мясо? Нет, мясо не едят, – сказал ангел.

Тут же у дезертира и колхозника пропал интерес к райской еде. Они замолчали и стали ждать красноармейцев с добытым в селе провиантом.

Тишину разрушил собачий лай, и тут же все собаки села соединились в звонком хоре.

Испугавшись, ангел, дезертир и беглый колхозник опустили на корточки и тревожно прислушались к лаю.

В окнах ближайшей избы загорелся огонек света.

Дезертир прилип к этому огоньку взглядом и не двигался.

И вдруг послышалось, как где-то хлопнула дверь. Потом еще один огонек пробился сквозь ветви деревьев чьего-то сада, и снова хлопнула дверь, потом скрипнул ржавым звуком засов, на какой обычно запираются ворота. Дезертир и колхозник привстали, тревожно глядя на село, которое на их глазах будто бы просыпалось или же просто ерзало во сне, как огромный человек, сопело и покряхтывало.

– Э-э-э, лишь бы пронесло! – нервничал дезертир. – Уж лучше мякины поест, чем под конвоем идти...

– Т-с-с! – зашипел на него беглый колхозник.

Все трое слушали уходящую тишину, но тишина эта словно бы приподнялась над селом и как могла приглушала возникшие в ночи шумы. Село, словно огромный спящий человек, бормотало во сне своем, дышало сквозняками, двигая окошками и дверьми. И все больше огоньков зажигалось в избах под лай собачьего хора. И вот уже какая-то дворняга завывала жалостно, словно сапогом ее пнул хозяин. И этот вой, так же, как раньше лай, подхватили еще несколько собак, и приподнялась тишина еще повыше над селом, пропуская собачий вой к звездам.

– Че-то там не то, – прошептал беглый колхозник. – Не к добру...

Ангел и дезертир не ответили.

Прошло еще какое-то время, и успела четверть луны пройти меж двух звезд.

Чьи-то шаги слышались, и тут же замерли трое ожидавших, не зная, кто это идет.

– Эй! – донесся вроде бы знакомый всем троим шепот.

– Ты кто? – так же шепотом спросил невидимого дезертир.

– Да эт я, Трофим... там такое дело... эти провиант дают, но говорят, чтобы мы их с собою туда, в эти Палестины брали...

Беглый колхозник почесал затылок.

– Ну а сколько там этих, что идти хотят? – спросил он.

– Да, почитай, все село, окромя председателя колхоза и двух партийных, которые спят и потому ничего не знают, – ответил бывший красноармеец Трофим.

Колхозник замолчал, задумавшись глубоко и трудно.

– А че, провианту они много возьмут? – поинтересовался дезертир.

– Да всю свою скотину, она ж теперь как бы ничья, колхозная...

– Ну, слышь, Архипка, пускай идут! Веселей будет! – обратился дезертир ко все еще думавшему беглому колхознику.

– А я что?! Пусть идут, – проговорил беглый колхозник усталым голосом.

– Ну, я тогда пойду, Федьке об этом скажу и этим, – сказал Трофим, и снова слышались его шаги.

– Только пусть они тихо там! – полукрикнул негромко беглый колхозник вслед ушедшему бывшему красноармейцу.

Ангел встал на ноги и посмотрел на село. Показалось ему, что во всех избах горел свет.

«Неужели, – думал он, – все вот так бросят дома и пойдут вместе с ними в места вечной справедливости? Неужели может быть такое в стране, жители которой после смерти в Рай не попадают?»

А беглый колхозник тем временем решил, что надобно им отойти подальше от первого забора и подождать тех, кто с ними пойдет, уже за селом. Так и сделали. Забрались на ближний холм-горбок и там уселись на траве в ожидании продолжения пути.

Вскоре приблизился и хорошо слышимым стал шум со стороны села, а после этого и глазу стало видно, как что-то большое и серое медленно ползет в их сторону.

Ангел даже испугался, подумав, что тут без дьявола не обошлось. Однако все это были лишь люди со своим скарбом, да животные домашние, копыта и морды которых были обвязаны тряпками во избежание шума. Лица людей рассмотреть было трудно, да и не пытался это делать ни ангел, ни дезертир, ни беглый колхозник, знавший путевказующую звезду. Съели они быстренько хлеба с маслом, которые им два красноармейца, Федька и Трофим, передали, а потом уже все вместе за звездой тронулись.

Шли долго, почти до рассвета. Иногда посреди поля оглядывался ангел посмотреть, сколько за ним народу идет, и видел, что много. Шли все молча, и только иногда кто-то из присоединившихся вполголоса ругал свою скотину, вдруг почему-то заупрямившуюся, и стегал ее чем-то в темноте невидимым: или плеткой, или просто веткой оголенной.

– Стой! – скомандовал беглый колхозник, когда небо с одного края засветилось неночными красками. – Тута переждем!

Было это в лесу. Все шедшие поусаживались на земле, развязали котомки и узелки, стали отдыхать и перекусывать. Бабки и женщины потянулись руками к коровам – молочка захотелось. Тут же и дойка началась. Кто-то из мужиков самогонки вытащил и стал ходить среди присевших, спрашивая, кто их всех в Новые Палестины ведет. Так дошел он до дезертира, который ткнул пальцем на беглого колхозника, сказав: «А вон этот, Архипка наш, ведет». Тогда мужик присел рядом.

– Давай, Архипка, выпьем на дорожку! – сказал.

– Не Архипка я, а Степан! – проговорил беглый колхозник, однако сразу же взял у мужика бутылку и отхлебнул несколько глотков из удивительно широкого горлышка.

– А мне неважно, Архип ты али Степан, – заговорил теперь мужик, прикладываясь к бутылке и делая маленькие глотки. – Мне важно, что есть такой человек, что может всех нас вывести отседова!

Ангел сидел рядом и краем уха слушал разговор.

Светало. Гасли звезды, покрываемые более ярким солнечным светом. Щебетала природа на разные птичьи голоса. И, как ни странно, человеческие голоса тоже хорошо и плавно вплетались в природные шумы, и речь теряла свою членораздельность и понятливость, превращаясь в что-то обозначающие звуки, отличимые большей частью интонациями и не такие разнообразные, как слова и буквы, произнесенные раздельно.

Ангел вдруг заметил недалеко от себя светловолосую девушку, занятую необычным для сельских жителей занятием – она просматривала какие-то книги, раскладывая их прямо на траве без всякой подстилки. Видно, он так на нее смотрел, что и она почувствовала взгляд, и тоже посмотрела на него, улыбнулась смущенно и снова вернулась к книгам, которые тут же сложила в стопочку и перевязала несколько раз бечевкой.

Воздух прогревался под солнцем, и можно было ощутить, как испаряется с земли ночная влага. Некоторые осмелевшие лесные птицы уже не пели, а кричали, да и люди, отдохавшие после ночной дороги в лесу, говорили теперь, при ярком солнечном свете, громче, так, словно разговаривали они стоя далеко друг от друга.

Глава 15

Когда закончилась пурга – Добрынин не знал. Может быть, пока он спал, лежа на полу возле разгоряченной печки-буржуйки, может быть, до того. Просто в ушах у него постоянно гудело, завывало, и он не то, чтобы привык к этому, но просто устал обращать внимание на слуховую сторону жизни. И вдруг стало тихо. Хотя тихо наверняка стало раньше, а в тот момент именно вдруг стало тихо в ушах у Добрынина, и он, не понимая, куда исчез шум, поднялся, зажег керосиновую лампу, наклонился к темному окну. Беспокойство и непонимание сменилось радостью – кончилась пурга, а значит теперь наверняка вернутся летчик и Федор, оставшиеся, наверно, пережидать стихию на военном складе. Кончилась пурга, и значит приедет за ним обещанный комсомолец Цыбульник и отвезет его в город, где начнется наконец его служение Родине, где он сможет по-настоящему работать, на совесть и от души.

Павел поставил на печку наполовину заполненный водой чайник. Керосин в примусе закончился, а где его брать в самолете, Добрынин не знал. Но чай ему уже надоел, и он хотел просто горячей воды, горячей или хотя бы теплой. А печка как раз была горячая.

На столе по-прежнему была разложена незаконченная «доминошная колбаса». Теперь-то они доиграют. Главное, не забыть, что у кого-то из товарищей скрывается костяшка «пять-два». Хотя возникла в голове Добрынина не совсем честная мысль: а что, если, пока их нет, подсмотреть? Конечно, это нехорошо, – соглашалась совесть народного контролера. – Ну и что? – думал сам контролер. Он же не собирается их обманывать, менять им кости, он просто хочет узнать точно – кто выиграет, он или тот, у кого есть «пять-два». И руки сами потянулись к костям летчика, уложенным черными рифлеными спинками вверх. Там нужной костяшки не оказалось, и Павел все понял. Теперь было ясно, что именно он выиграет эту игру. И это добавило в его душу радости и спокойствия.

Было тихо.

Выпив кружку подогретой воды, Павел подошел к дверям и, отодвинув чугунный запор, выглянул за порог. Длинная полярная ночь не казалась теперь такой темной. Была она скорее синего цвета, и что-то все-таки подсвечивало ее, что-то отражалось в ровном, расстеленном словно скатерть, снегу. И посмотрел Добрынин на небо, откуда лился этот неяркий свет, посмотрел и, пораженный, открыл рот от удивления. На небе переливались несколькими цветами странные, висящие во много рядов, словно белье на просушке, волокна. Обалдевший от невиданного зрелища, Павел с большим трудом оторвал взгляд от сияния и посмотрел вдоль снежных просторов. Должно быть, благодаря этим сияющим волокнам, несмотря на ночь, видимость была отличной, но пустынные просторы белели безжизненно, и не видел Добрынин на них никакого движения. Он даже не знал, в какой стороне располагался военный склад, а поэтому не знал, куда надо было смотреть, откуда надо было ждать появления его товарищей.

Было тихо. Тишина, словно длинное натянутое стекло, звенела после каждого прикасания к ней, будь то просто шаг по обледенелой земле или закрывание двери.

А на том горизонте, что больше всего нравился Добрынину, нравился потому, что там было светлее, появилась маленькая черная точка, и она, несомненно, двигалась, она приближалась, и, увидев ее, Добрынин затаил дыхание, ожидая встречи. Было холодно, но, закаленный блужданиями вокруг дома, когда ходил он за дровами в самолет, Павел не обращал внимания на пощипывание кожи лица и рук. Главное – это то, что он живой, что он пережил пургу, и то, что все самое страшное в этот раз позади.

А точка приближалась. Приближалась, и на глазах народного контролера вырастала в какую-то не совсем понятную конструкцию, слегка напоминавшую одновременно и самолет, и грузовую машину.

Радость согревала Добрынина. Он даже забыл, что в это время догорали последние дрова в печке-буржуйке, и если снова не полезть в самолет – а делать это он уже так наловчился во время пурги, что в такое тихое время это вообще никакого труда не составит, – печка потухнет, и снова придется разводить огонь. Хорошо, что где-то в карманах еще лежит коробок спичек, лежит со времен собрания в колхозе.

Знакомый звук вращающегося самолетного винта донесся до Добрынина, и минут через пять большая, не меньше размера самолета, машина остановилась метрах в десяти от него. Машина была странная, на полозьях вместо колес, и сзади, там, где у грузовика находится кузов, на этой машине стоял настоящий самолетный двигатель, только развернут он был в обратную сторону – пропеллером назад.

Из этой машины, а точнее из узковатой кабины, расположенной в носу, спрыгнул на землю высокий широкоплечий мужчина в меховых штанах, такой же куртке и огромной меховой шапке, длинные уши которой закручивались на манер шарфа вокруг шеи. Он подошел к Добрынину и, не снимая огромных перчаток, протянул руку.

– Цыбульник! – представился он гордо.

– Добрынин, – сказал контролер, пожимая своей посиневшей голой рукой перчатку комсомольца.

– А что это, вам что, перчатки не дали?! – озадаченно и недовольно спросил комсомолец.

Добрынин счастливо улыбался и пожимал плечами насчет перчаток. Сейчас ему это было неважно. Цыбульник тоже улыбнулся.

– С приездом! – сказал он.

Винт пропеллера на машине перестал крутиться, и снова стало по-стеклянному тихо.

– А где летчик? Где Бедюхин? – спросил комсомолец.

– Бедюхин?! – переспросил Добрынин. – Это, что ли, Федор?

– Ну да, Федор, – подтвердил Цыбульник.

– Они на склад пошли в пургу... за провизией. Я думал, это они идут, а это вы на этой...

– Это аэросани, – кивнул на конструкцию комсомолец. – Отличная машина. А давно они на склад пошли?

– Да давно уже, – кивнул Павел.

– Ну тогда поехали, встретим! – предложил комсомолец.

Усевшись рядом с Цыбульником в кабину, Добрынин с интересом принялся изучать сложную приборную доску для управления аэросанями. Комсомолец нажал на черную кнопку, и минуты через три аэросани задрожали точно так, как дрожал при разбеге самолет.

– Сейчас мы их отыщем, – комсомолец взялся за штурвал, тоже ничем не отличавшийся от самолетного, и нажал ногой какую-то педаль.

Аэросани дернулись, пробежали по прямой, потом комсомолец развернул их, и помчались они по снежной пустыне с огромной скоростью.

– Не холодно? – поинтересовался Цыбульник, поглядывая краешком глаза на пассажира.

– Да так, не очень, – сказал неправду контролер.

– Здесь и печка есть для отопления, я сейчас ее... – и комсомолец нажал еще какую-то кнопку, и сразу пошел теплый воздух.

– Как долетели? – продолжал задавать не связанные между собой вопросы Цыбульник.

– Хорошо, – сказал Добрынин. – Только долго очень.

– Ну?! – самодовольно высказал комсомолец. – Еще бы!

Впереди показался снежный холмик, и, подъезжая к нему, аэросани уменьшили скорость. А когда уже спустились с холмика, Цыбульник остановил машину.

– Замело-о-о! – протянул он, оглядывая из кабины поверхность заснеженной земли. – Ничего, отгребем!

Вытащив из-за сидения лопату, Цыбульник вылез из кабины, прошел несколько шагов по снегу, внимательно глядя себе под ноги. Сделал еще один шаг, и тут же его правая нога ушла вниз, и сам он, не удержав равновесия, рухнул, выставив руки вперед. Потом выкарабкался, поднял выпавшую из рук лопату и стал копать.

Добрынин, греясь в кабине, наблюдал за действиями комсомольца. Ноги контролера уже чувствовали это приятное, забытое тепло. Вставать, а тем более выходить из кабины не хотелось.

Цыбульник, раскопав вход в склад, подошел к аэросаням и призывно махнул рукой, вызывая Добрынина.

Павел нехотя выбрался на холод. Подошли они вместе к расчищенному входу. Перед ними была тяжелая железная дверь.

– Я один не смогу, – объяснил комсомолец. – Надо сильно потянуть ее на себя. Только вам надо что-то на руки одеть.

Откуда-то из-за пазухи вытащил Цыбульник большущий носовой платок, разорвал его надвое и помог Павлу обмотать им ладони.

– Теперь взялись?! – скомандовал комсомолец, ухватившись за длинную железную ручку. – Ну! Беритесь, и на «три» потянем! Раз... два... три-и-и!

Они дернули дверь на себя, и она поддалась.

Вход в склад был похож на вход в обычную землянку, и вообще удивило Добрынина то, что склад оказался таким маленьким. Ведь даже их колхозный склад зерна был раз в пять больше по площади, не говоря уже о высоте.

Когда зашли в темноту склада, наклонившись, чтобы не расшибить лбов из-за низкого потолка, комсомолец достал из кармана фонарик. Луч осветил серый коридор и еще одни двери, наполовину открытые. Прошли туда. Спустились по бетонным ступенькам и оказались в довольно просторном помещении, заставленном большим количеством деревянных и железных ящиков с различными трафаретными знаками, сделанными фиолетовой краской. Десятка полтора вскрытых ящиков лежали просто на бетонированном полу. Цыбульник подошел к ближайшему, приподнял не полностью отодранную крышку и посветил внутрь. Потом сплюнул недовольно. Добрынину ничего не сказал. Подошел к следующему и, заглянув в него, довольно улыбнулся. Ногой оттолкнул ящик от других чуть в сторону.

– Этот захватим в аэросани! – произнес он деловито.

Еще раз медленно осветил стены склада, и в луче фонарика промелькнула надпись на сером бетоне, надпись на каком-то странном нерусском языке.

– Че это? – вырвалось у контролера.

– Это? – повторил комсомолец. – Это два солдата, что замерзли здесь, написали. На узбекском, что ли... не знаю, что оно значит...

После осмотра главного помещения склада оттащили Цыбульник с Добрыниным большой и длинный, в рост человека ящик к выходу и вернулись назад, чтобы заглянуть еще в три маленьких комнатки. Но и там никого не было, и даже нельзя было понять: приходили ли на склад летчик и Федор.

Цыбульник был спокоен, он, казалось, не думал о товарищах Павла.

Когда погрузили ящик в аэросани и комсомолец завел двигатель, Добрынин спросил его:

– Так что с ними? Где они могут быть?

Только после этого вопроса, на который комсомолец только пожал плечами, лицо его стало чуть мрачнее и суровее.

– Поглядим, – сказал он негромко.

Снова летели аэросани стрелой по снежной пустыне. Иногда Цыбульник приостанавливал их на минутку и внимательно осматривал белые поля, но всюду было одинаково бело, и

снова мощнее становился шум пропеллера, разрезавшего хрустальный морозный воздух своими острыми лопастями.

Павел совершенно потерял ориентиры, которых, собственно, только и было два: склад и аэродромная изба. Он тоже крутил головой по сторонам, не совсем представляя себе, что он может увидеть в этих местах. Конечно, самое радостное было увидеть двух бредущих по снегу товарищей, но на таком ровном месте люди были бы видны издалека, да и то, что Цыбульник так внимательно всматривался в белые снега, где ну совершенно ничего не лежало, озадачивало и огорчало народного контролера.

И вдруг комсомолец резко дернулся, погасил скорость и, развернув аэросани, дал им по инерции пробежать еще несколько десятков метров назад.

Добрынин не понял причины происшедшего и смотрел на Цыбульника вопросительно.

– Там что-то было... – ответил комсомолец на вопросительный взгляд пассажира.

Выбрались из кабины, и тогда зашагал Цыбульник к свежим следам полозьев, только что оставленным их машиной. Павел шел за ним.

Дойдя до двойной колеи следов, комсомолец пошел по ней, ступая вперед осторожно, оставляя всегда тяжесть тела на нешагающей опорной ноге.

Пройдя не больше двадцати шагов, Цыбульник остановился и опустил на корточки. Потом обернулся, махнул рукою Павлу, стоявшему чуть поодаль.

Вдвоем они высвободили из-под снега сани от собачьей упряжки, поломанные аэросанями. Рядом в снегу виднелся кусок брезента. Это был большой брезентовый мешок, в которых раньше сбрасывали на парашютах доставляемые грузы. В нем лежала одна-единственная банка пряной свинины, приплюснутая с одного края.

– Ну вот, – замедленно произнес комсомолец. – Значит, были они на складе. Давай ходить от этого места кругами, только осторожно ступай!

Павел не совсем понял, как это можно ходить кругами от какого-то места, и пришлось комсомольцу показать пример. И так, «наматывая» клубок снежных следов, уложенных плотно один за другим, пошли по расширяющемуся кругу комсомолец и Павел, оба мрачные, в неприятном, вызывающем дрожь ожидании.

– Стой! – крикнул вдруг Цыбульник, сам остановившись. – Давай сюда!

Вместе они раскопали из снега Федора. Федор лежал на спине с раскинутыми в стороны руками. Лицо его непривычного красно-желтого цвета застыло со странным прищуром, собравшим много морщинок вокруг глаз.

Подняв замерзшего товарища, отнесли его в центр круга к саням, потом вернулись и продолжили кружение.

Делая маленькие, ступня за ступней, шаги, Павел думал об этой ужасно глупой смерти и о том, что именно из-за коня поднялись в дорогу летчик и Федор. И вот теперь, когда стало ясно, что товарищи его погибли, и конь Григорий убежал, и тоже наверняка не пережил эту страшную пургу, показалось Добрынину, будто кто-то острым ножом перерезал длинную дорогу его жизни, по которой шагал он с детства в будущее, перерезал, а точнее – вырезал из этой дороги кусок, и получилось так, словно та дорога, дорога прошлого, оказалась перерезана в час, когда ушли на склад Валерий Палыч и Федор, а новый кусок, совершенно другой и больше похожий на начало чьей-то чужой дороги, появится когда-нибудь потом. А то, что происходило с ним сейчас, в этой снежной пустыне, казалось путаницей или даже ошибкой, из-за которой он находится совсем не там, где ему надо находиться, и делает совсем не то, а если и тут быть точнее – то вообще ничего не делает, тратя свои силы на совершенно бесполезную борьбу со стихией, борьбу, в которой уже погибли двое его товарищей.

Вдруг Павел почувствовал, как нога его наступила на что-то неровное. Он позвал комсомольца, и, разрыв снег руками, они вместе вытащили тело Валерия Палыча. Молча оттащили летчика туда же, в центр круга.

- Я аэросани подгоню, – проговорил Цыбульник и пошел к стоявшей невдалеке машине.
- Надо ж похоронить по-человечески, – сказал со слезой в голосе Павел, глядя в спину Цыбульнику.

Цыбульник не ответил.

Когда аэросани остановились у вытоптанного круга, комсомолец попросил Павла помочь разгрузить большой ящик, взятый на складе. В ящике находились квадратные консервные банки из промасленной жести. Сложили их в кабине за сиденьями – места там было много, а пустой ящик сбросили на снег.

- Сюда их положим и закроем, – проговорил Цыбульник.

– А похоронить? – спросил Павел.

– Похороним, – комсомолец кивнул.

Сначала на дно ящика решили положить Федора, но в толстом оленьем кожухе да еще и с раскинутыми в стороны руками, которые никак не ложились по швам, в ящик он не лез. Пришлось помучиться, стаскивая с него кожух, буквально примерзший к темно-зеленому вязаному свитеру.

Уложили его туда, а потом, сняв кожух и с Валерия Палыча, положили летчика сверху. Крышка у ящика не снималась полностью из-за жестяных полосок, набитых на доски в двух местах поперек. Поэтому сначала ее просто отогнули, а потом, когда ящик уже стал гробом, ее снова опустили, и на всякий случай Цыбульник стянул ящик поперек вытащенной из кабины желтой проволокой. С большим трудом вставили этот ящик между кабиной и двигателем и укрепили его там.

- Теперь поехали, – сказал комсомолец и полез на свое место за штурвалом.

Остался позади вытоптанный в снегу круг, остались поломанные сани, брезентовый мешок с банкой пряной свинины и два оленьих кожуха. А аэросани разгонялись, и, не зная, куда они теперь едут, поглядывал Павел на лицо комсомольца и хотел спросить его, но, понимая, что и Цыбульнику сейчас тяжело, молчал. Чего его спрашивать – раз куда-то едет, значит, знает куда.

Аэросани остановились около входа в военный склад, где они уже были и откуда начинали поиски пропавших, но теперь уже найденных товарищей.

Стащили ящик вниз, протянули его с передышками по серому коридору, потом, придерживая снизу, спустили по бетонным ступенькам и уже в главном помещении склада отдышались.

- И что потом? Их потом заберут отсюда? – спросил Павел, уже чувствуя, что устал за последнее время очень сильно и даже замерзшие руки дрожат.

– Может, и заберут... – ответил Цыбульник, водя лучом фонарика по левой стене, под которой стояли один на другом такие же ящики. – Давай его вон туда поставим, видишь, там только один в углу, – сказал он, показывая лучом место.

Поставили.

- А что потом? – как-то заторможенно спросил Павел.

Вместо ответа Цыбульник опустил пятно луча на стоявшие рядом ящики, и увидел Павел, что на каждом ящике неровными жирными буквами было написано: «ряд. Урузбеков Махмуд, ряд. Карачаров И. С..., серж. Голобородько В. И...»

Странное состояние, охватившее Павла, не позволило ему задавать новые вопросы, которые, конечно, сразу возникли и зависли напряженно в мыслях.

- Здесь могилы не выроешь... мерзлота... – проговорил Цыбульник и пошел к бетонной лестнице, по которой они сюда спустились.

Вернувшись в кабину, он посидел молча за штурвалом, потом нажал синюю кнопку, и пропеллер зашумел, набирая обороты.

– Главное, чтобы до города горячего хватило, – сказал Цыбульник, наблюдая за возникшим движением стрелок на приборах.

– А на аэродром? – спросил Добрынин. – У меня там вещи...

– Аэродром, – повторил комсомолец. – Ладно. Аэросани набирали скорость.

Павел закрыл глаза, заболевшие то ли из-за усталости, то ли из-за сплошной белизны окружающего мира.

– О! А это что? – пробурчал довольно громко комсомолец, и Добрынин почувствовал, как снижается скорость аэросаней.

Когда машина остановилась, Павел открыл глаза и проследил за направлением взгляда Цыбульника.

Совсем рядом, метрах в пяти от аэросаней, что-то острое торчало из снега.

Цыбульник вышел из кабины. За ним следом вышел и Павел. Подошли.

Перед ними лежал скелет какого-то крупного животного.

Комсомолец, взявшись за ребра скелета, потянул его на себя, и тут Павел увидел вытащенную из снега морду коня Григория.

– Откуда это он здесь? – спросил сам себя Цыбульник.

– Это мой конь, – проговорил Павел. – Подарок товарища Калинина...

– А-а-а, – протянул, кивая, комсомолец. – А смотри-ка, его не всего съели...

И он ткнул перчаткой на смерзшийся хвост и державшийся на какой-то жиле конский орган.

– Надо с собой взять... Кривицкий такие штуки любит, – проговорил спокойно Цыбульник, достал из кармана куртки нож и, перерезав жилу, взял орган и спрятал его в том же кармане вместе с ножом.

– А зачем он Кривицкому? – удивился народный контролер.

– Ну, из оленьих органов хороший холодец выходит, а кроме того строганину можно делать. Берешь его замерзшего за кончик, нож подставляешь, а другой рукой орган крутишь медленно, и получается такая длинная спиральная стружка. Очень вкусно, и готовить не надо.

– Что, сырым едят? – еще больше удивился Добрынин.

– Нуда, замороженным. Так вкуснее, – закончил объяснения комсомолец.

– Дай ножик! – вдруг попросил контролер.

– Зачем? – спросил Цыбульник, но рука его уже полезла в карман куртки.

– Легчик хотел на дверь дома подкову прибить... на счастье...

– А-а, ну я сам, мне удобнее, – комсомолец наклонился к скелету, вывернул на себя обглоданные кости ноги, поддел ножом подкову и, побряхтев, отодрал ее.

– Держи! – протянул он ее Добрынину.

Совсем скоро подъехали они к аэродромной избе, где пробыли недолго. Прибили на дверь подкову. Павел уложил свои принадлежности, включая книгу и два надкушенных сухаря, посмотрел грустно на все еще разложенные доминошки и направился к двери.

Цыбульник прихватил с собою «Тетрадь для записи радиogramм».

Снова загудел двигатель аэросаней. Деревянный дом наполнялся теперь холодом; жизнь из него ушла, и вернется ли она туда когда-нибудь – было неизвестно.

Синяя полярная ночь, подсвеченная многоцветными небесными волокнами, продолжалась, и летели по ней аэросани, в которых поеживался, бодрясь, комсомолец Цыбульник, время от времени посматривая на приборную доску, а на сидении рядом дремал народный контролер Павел Александрович Добрынин.

Глава 16

Первым делом Марк вышел на балкон своего гостиничного номера и тут же глубоко, полной грудью вздохнул – перед ним билось пенными судорогами Каспийское море. Влажный ветер, насыщенный солью, тепло касался лица.

«И это у них зима? – подумал, внутренне улыбаясь, Марк Иванов. – Да-а, ничего не скажешь!»

Тут же на балконе с внешней стороны окна висел термометр. Марк взглянул. Красный столбик крашеного спирта остановился на шестнадцати градусах тепла.

До моря от гостиницы было не больше километра. Сейчас бы пройтись по пустынному берегу! Но нельзя. Через полчаса приедет машина из управления нефтепровода. Надо будет ехать выступать. Кузьма последнее время голову морочит, но нельзя ведь от птицы требовать невозможного. И так уже стихотворений сорок знает, так что неудивительно, что читает их с человеческой точки зрения не к месту. Разучивали с ним перед праздником в Каховке «Песню про Каховку», а он ее на Днепрострое в микрофон прочитал, а в Каховке порадовал зрителей поэмой Маяковского. И самое удивительное, что не помнил Марк, когда и для чего они учили с попугаем эту поэму. Да вообще-то казалось Марку, что и не учили они ее, однако не сам же попугай взял и выучил наизусть Маяковского?! Старый уже попугай, трудно с ним. И тут же Марк испугался мысли о том, что птица может умереть. И что он тогда будет делать? Сам читать?! Стихотворений он, конечно, знает много, но в каждом клубе есть свой декламатор, свой чтец, и никто его, Марка, слушать не станет...

«Закурить, что ли?» – подумал Марк.

Сигареты подарили ему недавно, после выступления в Хасавюртовском районе Дагестана. Сам-то он никогда не курил.

Не закурил он и в этот раз. Решил подарить симпатичную пачку сигарет с иностранным названием на иностранном языке какому-нибудь случайному хорошему человеку.

Вернулся в номер.

Тут почувствовал прохладу, ведь на балкон выходил только в брюках и концертной рубашке.

Обманчива бакинская теплынь.

«Ну ладно, надо покормить Кузьму, и воды ему дать», – подумал Марк.

Устроив на письменном столе номера обед попугаю, артист Иванов присел на диванчик. Задумался: а не зря ли они с Кузьмой учили «Качку на Каспийском море» Корнилова?! И ведь специально только два дня назад учили, чтоб было больше шансов. И все равно ведь, птица – дура, возьмет и прочтет здесь «Песню про Каховку» или еще что-нибудь.

Марк вздохнул. Посмотрел на часы.

Есть не хотелось. Тем более, что артист знал – после выступления будет банкет. Выступление ведь приурочено к празднику – окончили строить новый нефтепровод Баку – Батум. Целый доклад прислали ему, чтоб знал, куда и по какому поводу едет выступать.

«Доставка нефти по нефтепроводу обойдется в два раза дешевле, чем по железной дороге», – на всякий случай повторил Марк заученную главную мысль доклада.

Внизу засигналила машина.

Выскочил на балкон.

Приехали, но не за ним. За каким-то большим грузным человеком, стоявшем на балконе этажом ниже. Шофер помахал ему рукой, толстяк тоже махнул, и дверь его балкона шелкнула замком.

* * *

В управление нефтепровода приехали к четверем.

Иса Айсамов, партсек нефтепровода, оказался очень умным и приятным человеком. Он внимательно выслушал просьбу Иванова, все понял и сделал так, как артист просил.

А артист просил сказать пару слов перед выступлением, объяснить собравшимся рабочим нефтепровода и других заводов, что выступление попугая – дело серьезное и смеяться во время выступления не надо. Это раньше смеялись над всем, что говорили попугаи, и просто над попугаями, даже если те молчали. Сейчас же следует слушать не голос попугая, который, конечно, отличается от обычного человеческого, а то, что попугай читает.

В свои слова партсек Айсамов вложил много души и жестов.

Рабочие понятиливо кивали.

Марк выглянул из-за кулис – лица зрителей ему понравились.

– Ну, ни пуха! – сам себе шепнул артист и с попугаем на плече вышел на сцену.

Подготовленная Исой Айсамовым аудитория внимательно следила за артистом.

Марк потрогал пальцем микрофон – техника работала.

Подвинулся так, чтобы блестящая сетчатая головка микрофона была напротив клюва птицы.

– Ну, Кузьма, читай! – сказал, повернув и одновременно отклонив голову, Марк.

Кто-то добавил света на сцене.

Попугай по своей старой привычке сначала хмыкнул в микрофон, покрутил клювом, бросив при этом одноглазый взгляд на своего хозяина. И наконец странный, немного скрипящий голос зазвучал в зале:

– ...За кормую вода густая – солона она, зелена, неожиданно вырастая, на дыбы поднялась она, и, качаясь, идут валы от Баку до Махачкалы...

Улыбка появилась на лице Марка. Улыбка счастливого человека. Не сорвалось, подумал он, порядок. Так, наверно, и дальше надо: учить за два дня до выступления.

Зал смотрел на птицу широко раскрытыми глазами.

Марк зажмурился из-за слишком яркого освещения.

Завтра днем ему ехать в Киев. Ехать двое суток, а может, и трое.

Стихотворение про Украину будут разучивать в поезде.

Три строфы на украинском языке.

Хорошо еще, что не надо было для сегодняшнего дня учить на азербайджанском!

– ...Я стою себе, успокоясь, – продолжал Кузьма, – я насмешливо шую глаз – мне Каспийское море по пояс, нипочем... Уверяю вас...

«Ну, молодец, – подумал про попугая хозяин. – Молодец. Все-таки не дурак... Школьники столько выучить не могут!...»

Ныло плечо, в которое вцепился крепкими лапами попугай.

«Надо будет приучить его садиться по очереди: одно выступление на левое, другое – на правое, – думал Марк. – А то привык к правому и терзает его бесконечно. Надо будет в зеркало посмотреть, может, я уже и осанку правильную потерял...»

– ...Только звезды летят картечью, говорят мне: «Иди усни...» Дом, качаясь, идет навстречу, сам качаешься, черт возьми...

Как только попугай прочитал последние строки стихотворения, Марк сделал полшага вправо, приблизился к микрофону, объявил:

– Уважаемые товарищи, вы прослушали стихотворение Бориса Корнилова «Качка на Каспийском море».

Зал молчал.

Марк занервничал. «Неужели не будут аплодировать?» – подумал он.

Гробовое молчание рабочих становилось невыносимым для артиста.

Из-за яркого освещения сцены он не мог хорошо рассмотреть выражения лиц.

Поставил правую руку козырьком ко лбу. Стал виден первый ряд – инженеры, директора. Нет, недовольства не видно. Приоткрыты рты.

Марк больше не мог стоять на сцене. Он сделал шаг назад. Поклонился слегка, потом приученно поклонился и Кузьма, еще крепче вцепившись лапами в плечо.

Зашли за кулисы.

Подошел партсек Айсамов.

– Молодцы! Ай, молодцы! – улыбаясь проговорил он. Марк глянул на него недоверчиво.

– А почему публика молчит? – спросил он.

– Как молчит? Почему молчит? Ошарашены все! Птица стихи читает! – голос партсека становился все восторженней, с каждой фразой. – Птица стихи читает, значит выучила! А рабочий нефтепровода не читает, потому что безграмотный! Теперь все думать будут. Теперь стыдно будет не ходить в вечернюю школу рабочей грамотности!

Марк успокоился.

– Ну, товарищ артист, пойдемте в кабинет директора нефтепровода, там директор хочет что-то говорить, а потом маленький банкет, харашо?!

На третьем этаже, в кабинете директора, находилось человек десять – в основном лица из первого ряда – Марк их узнал. Директор пожал артисту руку, погладил попу.

– Вот, хатим показать вам разницу! – сказал директор, жестом руки опуская взгляд гостя на стол, где стояли две литровые колбочки с широкими горлышками, доверху наполненные, как Марк сразу же догадался, нефтью.

– Вот эта, – рука директора коснулась одной из них. – Наша бакинская, а вот эта – соседей, иранская. Посмотрите на свет!

И он поднял обе колбочки на уровень глаз артиста, стоявшего как раз напротив широкого окна.

Марк попробовал сравнить, но жидкости казались ему одинаково мутными.

– Видно, какая насыщеннее, богаче? – допытывался директор.

– Ну да, – охотно согласился Марк, думая, что этого хватит.

– Канечна! – директор улыбнулся. – Но это на цвет, а вот, – при этих словах директор снова опустил колбочки на стол перед артистом, – а вот теперь скажи, какая насыщеннее на вкус, а?

И директор, неожиданно сильно взяв руку Марка, обмакнул в нефть из левой колбочки указательный палец и сунул его самому же Марку в рот.

От неожиданности артист чуть не поперхнулся. Мерзкий протухший вкус заставил скривиться, но, не желая обижать хозяев, огромным усилием воли Марк вернул на лицо нормальное выражение.

– ...а теперь возьмем пальцем другой руки вот атсюда! – и он проделал то же самое с правой рукой Иванова.

Марка передернуло. Вкус у нефти из второй колбочки был такой же мерзкий.

– Ну, товарищ артист, скажи, где лучше нефть? – спросил директор.

Марк снова сосредоточился, отбросив неприятное состояние, но никак не мог вспомнить, в какой колбочке была бакинская нефть.

– Ладна, прашае, все-таки не специалист, – смиловился директор.

Остальные присутствовавшие снисходительно молчали.

– Разреши нам на память а твае приезде в наш замечательный город подарить тебе вот этот сувенир! – провозгласил директор и, взяв из рук одного из подчиненных, вручил Марку запаянную однолитровую колбочку с нефтью. На стекле колбочки золотыми буквами было

написано «На память о Баку». Над этими словами кружили две золотистые чайки, а верхняя часть колбочки напоминала маяк.

Вот тут наконец раздались аплодисменты, и, несмотря на мерзкий вкус во рту, Марк расслабился и улыбнулся.

* * *

– Адин до Киева будешь ехать! – обрадовал Марка партсек нефтепровода по дороге на вокзал. – Первый класс! А!

– Спасибо! – Марк кивнул.

– Знаешь, директор хотел у тебя птицу купить, со мной советовался, но я ему честно, как коммунист, сказал: «Таких птиц нельзя пакупать или прадавать, ани далжны принадлежать всему народу!» Правильно сказал?

Марк снова кивнул.

На прощанье Иса Айсамов поцеловал артиста. За окном купе было еще светло. Иногда вдруг появлялось море, и Марк жадно рассматривал его. Парус, полет чаек, свобода, чужие дальние берега – все эти образы волновали его, делали из него мальчишку.

Кузьма сидел в клетке и тоже смотрел в окно.

Когда начало темнеть, Марк включил свет. Решив переодеться и достать бритву и одеколон, он положил чемодан на соседний свободный диванчик, раскрыл его. Укладывал он свои вещи перед самым отъездом, голова еще болела от банкета, и поэтому сейчас приходилось все перекаладывать, разыскивая необходимое.

Ага, вот и пижама! Марк взял ее в руки – показалась непривычно тяжелой. Стал разворачивать ее на весу, и тут полетела на пол, покрытый восточным ковриком, подаренная колбочка с бакинской нефтью.

Марк замер. Опустил взгляд на пол. Блестели осколки стекла, и ковер на глазах темнел, напивтаясь продуктом недр.

Во рту запершило.

Кузьма оглянулся, левым глазом посмотрел на хозяина.

Удушливый тухлый запах нефти стал заполнять купе.

Марк попробовал открыть окно, но, видно, на зиму ручка для открывания была откручена.

Кто-то постучал в дверь.

Испуганный Марк защелкнул замок, потом спросил:

– Кто?

– Чай нэсти? – прозвучал мужской голос со знакомым акцентом.

– Нет! – крикнул Марк. – Я уже сплю!

– Спакойной ночи! – сказал голос, и тут же, уже тише, прозвучал снова, должно быть у следующей двери: – Чай нэсти?

– Да, – ответил приятный женский голос. – Один чай и печенье!

Марк сидел на диване и думал. Думал о том, что его ждут неприятности за порчу ковра, думал о том, что лучше не открывать дверь до самого Киева, что лучше будет сойти на какой-нибудь станции, так, чтоб проводник не увидел. Думал об этом ужасном запахе, в котором придется спать.

Ночь обещала быть удушливой.

«Выдержит ли Кузьма?» – нервно подумал Марк, глянув на птицу.

Глава 17

Вечерело. На загустевавшей синеве неба проклевывались первые звезды. Приближалась седьмая ночь пути в Новые Палестины, и люди, число которых доходило уже до нескольких сотен, переживавшие дневной свет в овраге неподалеку от невидимого городка, собирали пожитки, выбирались на проселок, чтобы оттуда снова пуститься в дорогу.

– Архипка! Где Архипка? – криком спрашивал расхаживавший среди этих людей дезертир, именовавший себя уже главным дезертиром, так как обычных дезертиров среди идущих прибавилось.

– Тут, тут я! – ответил ему беглый колхозник, ведущий всех к справедливости. Ему уже порядком надоело сообщать всем, что зовут его не Архипка, а Степан, и поэтому откликнулся он теперь на имя той звезды, за которую шли они, откликнулся охотно и без всякой обиды.

– Ну че ты копаешься! – ругался главный дезертир. – Народ тебя ищет, спрашивают: «Не сбежал ли?»

– А че мне сбегать?! – Архипка-Степан пожал плечами, поднимаясь с земли.

– Ну давай, сейчас идти будем! А этот, ангел, где, не знаешь? – тут же спросил главный дезертир.

– Там был, под орешником! – кивнул в нужную сторону беглый колхозник.

– Ага, – сказал главный дезертир. – Ну давай, иди!



Ангел все еще дремал. Настроение у него было пречудесное. Последние четыре ночи пути напоминали сказку. Прибавились к ним, идущим в Новые Палестины, и случайные одинокие путники, невеста от кого или чего бегущие или скрывающиеся по ночам. Потом вышли они на

ярко освещенное кострами место, где в ночной темноте шла большая стройка. Подошли все к этой стройке вплотную и даже не испугались, полагая, что ночью могут строить только что-то тайное и скрываемое от советской власти. А оказалось – это ударная бригада строила новые коровники стахановским способом без отдыха и сна. Коровники уже были почти закончены, когда ошеломленные рабочие с опухшими от недосыпа глазами увидели себя окруженными разным народом, среди которого проглядывали и лошадиные, и коровьи морды. Ошеломление длилось долго, однако когда строители узнали, кто их окружил и куда этот народ движется – сразу тоже захотели идти в Новые Палестины, но чтобы все было по порядку, провели они голосование всей своей стахановской бригадой, и выяснилось, что все «за», а только бригадир сначала был против, но увидев, что один он такой, – взял и воздержался, сказав об этом громко, хотя никто и не понял – что это «воздержался» может обозначать. Так и строители пошли с ними, прихватив весь свой инструмент, и бригадир пошел, потащив с собою целый чемодан, набитый разными бумагами, в которых нарисовано было, как коровники строить.

Строители оказались ребятами покладистыми и добрыми, и даже с крестьянами сошлись быстро, хотя некоторым бывшим колхозникам и не нравилось, что уж очень часто они крестьянских баб случайно руками задевают.

В другую ночь идущим пришлось пережить немного испуга, потому как настигнуты они были конным отрядом красноармейцев. Уже и бабы плакали, и крестьяне, да и сам Архипка-Степан готовился к худшему, когда завязался с красноармейцами совсем не вражеский разговор. Оказалось, что нагнал их отдельный красноармейский отряд по поимке беглых сельских учителей. Комиссар, у которого был список беглых этого уезда, хотел было устроить проверку всем окруженным, но тут завязалось сразу несколько бесед меж крестьянами и простыми красноармейцами, которые в сути своей, да и по рождению тоже, крестьянами были, и когда красноармейцы слышали про Новые Палестины, не захотели они больше беглых учителей ловить. Тоже задумались, как им дальше жить. И зря комиссар кричал, призывая их к бдительности и дисциплине и размахивая большим маузером, все равно красноармейцы долго медленно думали над своею судьбою и жизнью. А когда комиссар стал уже расстрелом всем угрожать, один из красноармейцев взял и пулянул ему в ногу, чтобы не вопил и не мешал думать о будущем. Комиссар свалился с коня и жалобно матерился, но на него уже не обращали внимания. Тогда он снова хотел выстрелить из маузера, но приклад у маузера был тяжелый, и неудобно было комиссару лежа стрелять. Поэтому положил он маузер у себя под боком и задумался о боли в раненой ноге.

А тем временем строители подсказали красноармейцам, как правильно все разрешить, и те тоже провели голосование, в котором только один комиссар не участвовал. И тоже все были «за», а значит сразу же они присоединились к хвосту идущих и стали как бы охраной всего шествия. Один только красноармеец отстал на минуту – спрыгнул с коня, перевязал комиссару ногу, чтобы кровь зря не лилась, и снова на коня вскочил, чтобы догнать идущих к справедливости.

Так и получилось, будто целый народ в Новые Палестины шел: и крестьяне, и плотники, и Красная Армия, и ангел, и сельская учительница – светловолосая девчушка, которой ангел помогал нести тяжелую стопку книжек, и главный дезертир, и, конечно, Архипка-Степан, которому всеми воздавалось столько уважения, что он не только потолстел за это время, но и очень часто подвыпившим был.

– Эй, ты, ангел, подымайся! – затормошил ангела за плечо главный дезертир. – Темнеет уже! Идти будем!

Ангел протер глаза, приподнялся на локте и огляделся по сторонам. Зеленое травяное днище оврага, еще совсем недавно заполненное людьми и их животными, было теперь почти пустым, за исключением, может быть, двух-трех старух, заканчивавших завязывать свои вещи в небольшие узлы.

- А где люди? – спросил сонно ангел.
- Наверху уже. Давай!

Ангел встал, оправил на себе уж очень помятые военные одежды и пошел следом за главным дезертиром. Потом вдруг остановился и оглянулся, внимательно осмотрев место, где спал.

- А Катя тоже там? – спросил он у дезертира.

– Училка? Да, давно уже. Сидит, книгу читает. Поднялись наверх. Там звучали зычные мужские голоса и происходило не совсем понятное перемещение народа в одном месте.

Главный дезертир подозвал стоявшего рядом под невысоким деревцем мужичка и спросил его:

- Чего тут такое?

– Да красноармейцы строят всех, чтобы маршем идти – так, говорят, быстрее будет! – ответил мужик.

Дезертир на минутку задумался, а потом, повернувшись к ангелу, произнес:

- Эт дело, наверно. По-военному оно всегда быстрее...

– Архипка! Где Архипка? – снова, крича на ходу, появился рядом с ними мужичок в грязном ватнике.

- Тут, тут он! – ответил ему кто-то, и поспешил мужичок на этот голос.

- Готовсь! – перекрыл всякий шум еще один, совершенно незнакомый голос.

Народ затих в ожидании.

– За Архипкой левой ать!!! – снова взгремел этот голос, и тут же затопали сотни ног, выбивая из земли пыль и соки трав.

Только главный дезертир, ангел да еще некоторые стояли неподвижно, ожидая узнать направление пути.

Построенные военным образом люди тронулись в путь, и шли они так медленно, натываясь друг на друга, что ангел и главный дезертир без спешки обогнали их и поравнялись с Архипкой, рядом с которым шагало еще несколько человек, в том числе и малорослый горбун, неизвестно откуда появившийся.

Увидев товарищей по побегу, беглый колхозник Архипка-Степан кивнул им, но ни слова не сказал, так как сразу возвратил свой взгляд на небо, где мельтешили слабыми огнями звезды и звездочки, и всякая на свой манер куда-то звала.

Городок остался позади. Шли они как раз между полем и лесом. Шли и разговаривали вполголоса о том, что нынче и есть седьмая ночь, а значит сегодня они придут к заветной цели. Некоторые с коровьих морд повязки поснимали, и оттого время от времени тоскливо, но так по-человечески мычала какая-нибудь корова.

Луна, еще не полная, имевшая как бы только надрезанный краешек, забиралась на звездное небо, светила желтушным светом.

И кони ржали – отряд по поимке беглых сельских учителей замыкал шествие, и, видимо, поэтому непривыкшие к такой малой скорости, к отсутствию азарта погони, выражали кавалерийские кони свое неудовольствие.

Ангел пару раз отставал, разыскивая среди идущих сельскую учительницу Катю, чтобы забрать у нее тяжелую стопку книг и самому ее нести, но этой светловолосой девчушки нигде видно не было.

И вдруг загромыхало что-то, будто гром, и земля закачалась под ногами у ангела и остальных. Бабы заверещали. Малорослый горбун подпрыгнул к дереву и залез на нижнюю ветку, остальные рассыпались по земле: кто в поле побежал, кто в лес. И ничего понятно не было, только звучали частые глухие удары, и от них земля вздрагивала, словно каждый удар заставлял ее в испуге.

Ангел тоже пробежал назад, все еще пытаясь разглядеть среди начавшейся суматохи учительницу Катю, но там его кто-то сбил с ног, а потом кто-то другой, и тоже не нарочно, а из-за испуга, на бегу наступил ангелу на ногу, и услышал ангел, как негромко хрустнула его косточка.

А грохот продолжался, и совсем рядом пронеслась молча обезумевшая корова.

Захотел ангел привстать, но боль в ноге держала его на земле, и снова он лег на спину.

Грохот все еще продолжался, но через некоторое время все стихло и наступила такая тишина, что стало ангелу страшно – ведь знал он, что тут где-то рядом сотни людей, кони, коровы, и даже не верилось, что все это живое скопление может так затаиться от испуга.

Боль в ноге, казалось, поутихла. Ангел попробовал согнуть ногу, и это ему удалось. Только между коленом и щиколоткой сильно болело.

Привстал и, хромая, стараясь как можно быстрее переступить с правой на левую ногу, вернулся он на дорогу и осмотрелся по сторонам.

Желтушное свечение луны было достаточно ярким, чтобы разглядеть ночной пейзаж: всюду лежали люди, припавшие к земле, вжавшиеся в нее, обнявшие с ней. По полю бродили кони и коровы, а за ними что-то возвышалось, похожее на маленькую гору, что-то, чего до этого грохота в поле не было.

Люди зашевелились, стали подниматься. Зазвучало в темной тишине оханье, кряхтенье, тихое бабье взывание к Богу. На дорогу стали выходить мужики, но в то же время с земли поднимались далеко не все. Многие продолжали лежать, и ангел, сделав несколько трудных шагов к ближайшему лежавшему на земле человеку, нагнулся и дотронулся до его плеча. Однако лежавший даже не пошевелился.

Где-то рядом вдруг завопила какая-то баба, и тут же на нее кто-то прикрикнул, и она, должно быть, сама заткнула себе рот рукою, продолжая при этом выть.

Мужик, лежавший на земле перед ангелом, был мертв. Рядом с ним лежал округлый черный камень, как раз размером почти что с голову мужика. Видно, этим камнем его и убило.

– Архипка! Архипка! – кричал кто-то, расхаживавший между лежащих и поднимавшихся.

– Ну что? – прозвучал в ответ голос беглого колхозника.

– Живой!!! – радостно завопил кто-то, и крик этот прозвучал довольно зловеще на фоне усиливающегося плача.

«Что это было?» – думал ангел, стоя над мертвым человеком.

– Ну ты как? – спросил подошедший к ангелу главный дезертир. – А?

– Живой, – ответил ангел.

– Федьку убило, – скорбно сообщил дезертир.

– Кого?!

– Ну того, что с нами с машины прыгал, ружье еще обломал... – напомнил дезертир.

У ангела нога заболела сильнее, и он опустился на землю.

– Ты чего? – спросил дезертир. – Тоже задело?! Ангел кивнул.

– Ну отдохни пока, я там сейчас разберусь, – забормотал главный дезертир. – Надо ж дальше идти, а то не успеем.

Ангел снова остался один. Хорошо освещенная луною ночь не скрывала происходящего в ней, и видел ангел, как люди поднимали лежавших на земле и сносили их в одно место, как строители-стахановцы стали рыть большую яму у самой дороги, как какая-то баба бросалась на одного лежавшего на земле и не давала двум красноармейцам поднять его, чтобы отнести к остальным лежавшим. Все видел ангел, но понять причину обрушившегося на них бедствия не мог. Не могла это быть карающая рука Божия потому, что Господь милостив. Не мог это быть и дьявол, потому как ударяет он выборочно. Нет, не мог понять ангел: откуда взялся этот каменный дождь, остановивший их шествие, словно бы нарочно не желавший их вхождения в Новые Палестины.

А ночь тем временем отступала. Из заземных глубин всплывали первые лучи. И звезды тускнели, и будто небо втягивало их в себя, в свою синюю ткань, пропадали они совсем, и на их месте ничего не оставалось.

Ветерок поглаживал кроны леса, шелестя листьями. Пели птицы. Плакали, уже почти беззвучно, женщины и старухи, сидевшие на земле рядом с мертвецами. Уставшие, дрыхли на опушках лесных оставшиеся в живых и среди них – Архипка-Степан.

Все было хорошо на земле, и с природной точки зрения – красиво. Посреди поля возвышался черный камень-скала с пообтесанными боками – пришелец из миров потусторонних и непонятных. Может быть – осколок потухшей и застывшей звезды, может быть, что-нибудь другое. А вокруг него большими градинами лежали сотни таких же черных округлых камешей размерами от детского кулака до медвежьей головы.

Восходило солнце, и лучи, уткнувшись в эти каменные градины, заставляли рождаться новые и совершенно незначительные тени, и только тень от камня-скалы ложилась на землю широко и могла бы укрыть собою до двух десятков человек – положи ты их там в рядок, а то и в два ряда.

Ангел спал, но боль от ушибленной ноги пробиралась и в сон, и вот уже снилось ему, как ноет нога и как он, пытаясь идти куда-то – наверно, в те самые Новые Палестины, мучается и оплачивает страшной болью каждый шаг, сделанный в желанном направлении. И не видит он из-за этой боли ничего и никого вокруг, думая и беспокоясь лишь об одном: как бы не отстать от других, как бы не потеряться. А на деле идет он в полном одиночестве и единственная спутница его – боль – страшна и мучительна, но никак не отделаться ангелу от ее присутствия.

А тем временем солнце вставало все выше, укорачивая тени. И стали один за другим просыпаться оставшиеся в живых: и красноармейцы, и крестьяне, и строители. И стали они собираться вместе и говорить о трагическом происшествии, пытаясь найти причины или каким-либо иным способом объяснить смерть товарищей. И не могли они этого сделать так, чтобы все были согласны с объяснением.

А ангел все спал. Тень от высокой ели, укрывавшая его, еще не была подрезана солнцем.

– Архипка! Где Архипка? – спрашивал громко мужичок в грязном, замазанном высохшей глиной ватнике.

– Ну что? – ответил Архипка-Степан осипшим голосом, видимо простудила его охладившаяся ночная земля, на которой он спал.

– Пошли! – сказал мужичок. – Там тебя требуют. Надо решать, как там хоронить наших и что дальше делать.

Архипка-Степан подошел.

– Вот он, пропустите Архипку! – звонким голосом перекрыл разговаривавших людей малорослый горбун. – Пусть он решает!

Архипку пропустили в середину и тут же стали засыпать вопросами, но хор вопросов был настолько спутанным, что беглый колхозник, знавший путь в Новые Палестины, озадачился и ни слова не говорил.

– Вы вот что, по одному давайте! – сказал он, когда хор затих.

– Хоронить как? С ружейным залпом или искать попа для отпевания? – быстро проговорил один из красноармейцев.

Архипка-Степан задумался глубоко. Потом сказал:

– Надо и с залпом, и с отпеванием, чтобы все было по-людски.

– А закапывать? Всех разом или построим здесь кладбище? – прозвучал следующий вопрос.

Понял Архипка-Степан, что нелегкое это дело – пользоваться уважением у сограждан. Будь он простым беглым колхозником, никто бы не задавал ему таких трудных вопросов и уж тем более не требовал на них обязательных ответов.

– Давайте я помогать ему буду! – вдруг предложил толпе малорослый горбун, продвигаясь поближе к Архипке.

– А ты кто ему такой? Брат, что ли?! – недружески спросил один из строителей-стахановцев.

– Я счетоводом был, – ответил горбун с неподдельной гордостью за свое прошлое.

– Ну пусть Архипка решает – хочет он тебя в помощники али нет! – уже покладистее сказал кто-то из красноармейцев.

– Пускай, пускай будет! – с радостью ответил Архипка-Степан.

– Ну так давай, помогай живее! – сказали после этого горбуну-счетоводу.

– А что там за вопрос был? Про то, как закапывать? – переспросил горбун. – Ну так я думаю вот что: надо рассортировать покойников на три ямы, так чтоб красноармейцы к красноармейцам, строители к строителям, а колхозники к колхозникам. Потом пересчитать их и закопать в общих, чтоб было понятно, кто где лежит.

– Дело говорит! – поддакнул кто-то из колхозников.

– А баб? – спросил кто-то. – Баб куда закапывать? Они ж все крестьянские...

– Да нет там баб! – ответил кто-то другой.

– Как нет? Что, ни одной не убило?! – удивился вслух кто-то третий.

Красноармеец сходил к мертвецам, проверил и, возвратившись, подтвердил:

– Не, нет там баб, одни мужики. Народ пожал плечами от удивления.

– Ну че, копать будем?! – призывно спросил горбун-счетовод. Строители взяли в руки лопаты и привычно, будто под фундамент яму начали рыть, взялись за работу.

Ямы углублялись прямо на глазах. Земля была мягка и податлива, да и до удивления легка, из чего строители сделали вывод, что совсем недалеко уже осталось до Новых Палестин.

Проснулся ангел. Встал. Огляделся вокруг и, увидев работающих строителей, подошел к ним.

– А ты где был? – окликнул его главный дезертир, тоже наблюдавший за рождением братских могил.

– Спал, – ответил ангел.

– Счас похороним, закопаем этих, тогда можно будет еще поспать до темноты, а ночью уж наверняка на место придем. Как думаешь?

– Придем! – ответил ангел уверенно по причине того, что сам твердо верил в достижимость Новых Палестин.

Ямы вскоре выкопали и все разом пошли сортировать мертвецов.

И тут выяснилась еще одна озадачившая всех вещь – среди убитых не оказалось ни одного колхозника. Было это красноармейцам и строителям как-то неприятно, и косились они на крестьян с явно выраженным во взглядах неудовольствием.

– А может, они своих ночью закопали, по-людски? – предположил вдруг красноармеец Трофим, тяжело переживавший гибель своего товарища Федьки.

– Да нет, не хоронили мы никого... – отвечал кто-то из крестьян.

– А над кем же ваши бабы всю ночь выли? – тут же спросил, как к стенке поставил, другой красноармеец.

– Да над вашими и выли! – ответил кто-то из крестьян. – Вы ж без баб пошли, над вами ведь и повыть некому, случись что!

Этим словам, казалось, поверили, и зависла над полем тишина тягостная, какая возникает порою на осенних кладбищах.

В этой тишине рассортированных мертвецов поднесли к двум ямам, и выяснилось, что красноармейцев погибло одиннадцать человек, а строителей восемь, и в числе этих восьми был и бригадир, знавший письменные секреты строительства коровников и жилых домов.

– Надо бы митинг провести, как положено... – неуверенно, но очень упрямым голосом сказал красноармеец Трофим. – Чтоб боль нашу высказать.

Красноармейцы зашумели негромко и одобрительно. Крестьяне промолчали, так как не знали они о природе митингов ничего. Собрания были им известны, а митингов в колхозах еще не проводилось.

– Ну тогда я начну! – осмелевшим голосом заявил красноармеец Трофим, и тут же народ отодвинулся от него, образовав круг, в центре которого и остался красноармеец. – Я говорить не мастак... Трудно мне говорить, но очень жаль мне товарища своего Федьку, погибшего прошлой ночью за правое дело... И хоть не знаем мы, кто наших товарищей убил, но я от имени Красной Армии перед лицом народа клянусь найти и отомстить врагу, сделавшему это грязное дело.

Договорив, Трофим ушел из середины человеческого круга, и осталась эта середина пустая. А люди траурно молчали, думая о погибших.

– Пусть кто из строителей скажет! – негромко произнес мальчишка-красноармеец, на гимнастерке которого блестел орден.

В середину человеческого круга медленно вышел немолодой рабочий.

– Я... я красиво говорить не обучен... Но только до слез жалко мне наших товарищей, и хочу поэтому назвать их поименно, чтобы все знали, кого мы сегодня хороним: это Прохоров Степан, Кирилл Путильцев, Сафронов Павел, Рыжков Иван, Богодухов Иван, Стрельцов Григорий, Кузнецов Максим, бригадир Шубин Борис... мы, конечно, присоединяемся к словам красноармейца и, как сами будучи только строителями, просим Красную Армию отомстить врагам и за наших товарищей, незаслуженно погибших. А сами обещаем, как только придем в Новые Палестины, поставить там памятник нашим товарищам, строителям и красноармейцам так, чтобы стоял этот памятник века, и выбьем на нем имена всех товарищей, которых мы закапываем сегодня здесь...

Досказав, строитель вернулся на свое место, и снова осталась середина круга пустой, а люди стояли немо и чувствовали, как нарастает скорбь в мире, окружающем их, и как ветер притих, чтобы не нарушить человеческое горе шелестом трав и листьев.

– Эх, был бы поп, чтоб как бы отпеть их! – громко вздохнул один из крестьян.

– А ангел, ангел подойдет? – спросил главный дезертир. – С нами ж ангел есть!

И все закрутили удивленно головами по сторонам. Не знали ведь они, что ангел с ними идет.

А главный дезертир подошел к ангелу, вытолкнул его в середину круга, говоря: «Ну давай, говори чего-нибудь!»

Стал ангел, посмотрел на людей, его окружавших. Подумал чуть-чуть. И решился он говорить, надеясь на разумность слушающих и на их стремление к справедливости.

– Радостно мне быть среди вас, – говорил он вполголоса, но слышали его все, притихнув. – Ведь там, на небе, эту страну страшно грешной считают... Непонятно им, почему люди из этой страны после смерти в Рай не попадают. Непонятно это и мне. Ведь вижу я, как вы стремитесь к справедливой жизни, как на этом тернистом пути теряете вы своих братьев... Я уверен, что пройду этот нелегкий путь с вами вместе до конца, и мы вместе, прожив безгрешно и справедливо, войдем в ворота Рая, и тогда я буду прощен за то, что ушел оттуда, а вы будете приняты, как самые дорогие небесные новожители...

Закончив свои слова, огляделся ангел и увидел слезы в глазах у многих мужиков и баб, и смущенные, чуть радостные, улыбки, выражавшие мечту о Рае, которая так скоро могла стать действительностью. И увидел он учительницу Катю, лицо которой было чуть строже, чем у остальных, но когда взгляды их встретились, показалось ангелу, что лицо ее смягчилось и стало добрее.

Ушел он из середины человеческого круга, и на этом кончился траурный митинг. Красноармейцы уложили своих на дно братской могилы, строители – своих. Засыпали их землей, нагребли над двумя могилами холмики. На одном укрепили буденовку, прикрученную бечевой к срубленному стволу молодого клена, на втором просто посадили березку, выкопанную тут же рядом в лесу.

Красноармейцы выстрелили из ружей в знак последнего прощанья.

После этого сели в лесу кушать. Женщины разносили молоко в кружках: они сами словили разбежавшихся по полю коров. Из коней только два вернулись к красноармейцам, остальных, видно, далеко испуг загнал, так далеко, что не вернулись они назад.

Архипка-Степан, ангел, главный дезертир, Трофим и горбун-счетовод кушали вместе.

От одной компании к другой ходил мужичок в грязном ватнике. Носил он в руках большую бутылку с самогоном и наливал понемногу всем, у кого было во что, говоря при этом: «Помянем, помянем наших...»

Солнце еще светило, но тени уже удлиннились, приближая вечер и готовя землю к ночному сну.

Красноармеец Трофим, помянув товарища несколько раз, лежал отдельно на траве и плакал. Его не трогали и только время от времени бросали в его сторону сочувственные взгляды.

На все еще светло-синем небе проклюнулось несколько звездочек, а на восточной части показалась и луна, круглая, как райская паляница, и такого же золотистого цвета.

Ангел смотрел на нее, жуя грубоватый черный хлеб из крестьянских запасов, твердый и жесткий, выпеченный так, чтобы можно было его две недели есть. Смотрел и о счастье думал, и отгонял от себя наваждение нескромного свойства, картину придуманную и достаточно желанную, показывающую, как он с учительницей Катей в ворота Рая входит. Отгонял, отгонял и все-таки отогнал он эту картину, подумав одновременно, что наваждение это не желает добра Кате, так как для того, чтобы с ним в ворота Рая войти такой красивой, какой есть она, должна эта светловолосая девчушка умереть молодой, не изведавшей полною мерою земной жизни. А поняв это, испугался ангел своих мыслей и, пожелав Кате долгих лет, задумался о недавно прошедшем митинге, на котором выступил, о яме, выкопанной да так и оставленной пустой из-за избирательности небесного камнепада, убившего только строителей и красноармейцев.

А вечер опускался все ниже и ниже, оставляя за собою уже довольно темное небо с разбуженными от дневного сна скоплениями звезд.

– Подъем! Подъем! – заорал неожиданно Архипка-Степан, встав и ткнув указательным пальцем вверх. – Уже видно! Подъем!

Зашевелились люди, засуетились, собирая пожитки и готовясь в дорогу. Кто-то спешно доедал пищу.

Постепенно люди собрались, вышли на дорогу, лежавшую между полем и лесом, посмотрели на прощанье на две свежие братские могилы, поклонились им и, когда во главу плохо организованной колонны стал Архипка-Степан, тронулись в путь.

Рядом с Архипкой-Степаном шагали главный дезертир и горбун-счетовод, чуть поодаль нетвердую походкой шел Трофим. Ангел, затесавшись в самую середину колонны, помогал нести Кате ее книжки, однако при этом с ней не заговаривал и даже не отвечал на ее косые взгляды, полные любопытства. Сама она, правда, пробовала заговорить, то есть задала ангелу вопрос: «Так ты думаешь, что Бог есть?!» Но, ясное дело, вопрос показался ангелу странным, и он промолчал, а новых вопросов не последовало, и шли они дальше молча под ночными звездами, слушая глухую музыку грунтовой дороги, о которую ударяли сотни упрямых подошв.

Луна, полная и круглая как райская паляница, медленно катилась по небесам. Длилась восьмая ночь пути. Силы иссякали, и только огромная человеческая мечта да уверенность в скором окончании пути заставляли людей передвигать отяжелевшие от долгой дороги ноги.

И вдруг Архипка остановился, остановились шедшие за ним следом, а задние уткнулись в спины передних, и прошло по колонне смятение из-за непонимания остановки.

А Архипка-Степан стоял и пытался что-то сказать, однако язык его не поворачивался нужным образом, и он только показал пальцем правой руки туда, вверх, в синее-синее небо. И те, что были рядом с ним и за его спиной, посмотрели на небо и увидели, к ужасу своему, как катится вниз с небесного купола какая-то маленькая звездочка, катится и тускнеет на глазах, а потом уже срывается и летит вниз. И кажется сначала им, что летит она прямо на них, но над самой землей звездочка гаснет, и тут вырывается из груди беглого колхозника жалостный громкий крик: «Архипка-а-а!» И все начинают понимать, что произошло в эту восьмую ночь на безоблачном огромном небе. И слезы застилают глаза многих, и бабы снова воют и в этот раз оплакивают уже не мертвых, а еще живых, но остановившихся.

– Ты что, ты чего? – дрожащим голосом спрашивает главный дезертир обалдевшего Архипку-Степана.

– Сорвалась... – жалобно лепечет беглый колхозник.

– Ну и что? – спрашивает главный дезертир. – Ты видал, откуда она сорвалась?

– Видал, – кивает Архипка-Степан.

– И я видал! – говорит горбун-счетовод.

– И я! И я! – шумят сзади мужские и бабьи голоса.

– Ну туда и пойдем! Ясно? – спрашивает главный дезертир. Архипка-Степан кивает.

– Давай, шагай! – командует дезертир. – А то народ взбунтуется! Ради чего товарищи погибли?!

И снова медленное свое движение продолжает плохо организованная колонна; всякая обувь и копыта коровьи топчут дорогу, а два коня, что сами к людям вернулись, идут послушно без седоков по краю поля.

А через какое-то время дорога грунтовая сворачивает налево, а люди все прямо идут, и уже поле у них под ногами, мягкое и нежное, а впереди холмы, покрытые лесом. И уверенно ведет их к цели беглый колхозник, не отрывающий своего взгляда от того места на небе, от той осиротевшей черной дырочки, еще недавно занимаемой звездой Архипкой. Ведет и становится злее, и увереннее в том, что и без звезды доведет он их в Новые Палестины, где останутся они навсегда и откуда если и уйдут, то только в Рай.

Глава 18

Наступал скорый октябрьский вечер, и школа уже была пуста. Лишь в директорском кабинете горела лампа. Освещала она пристальный взгляд висевшего на стене портрета Дзержинского и самого директора школы, Банова, сидевшего в неприятном раздумье за своим столом и время от времени отклонявшегося чуть в сторону, чтобы посмотреть пытливо на низ своих темно-синих брюк.

– Вот черт! – буркнул он и, снова отклонившись, с силой вlepил широкой ладонью по лодыжке.

Потом он закатал одну штанину и присмотрелся к самой ноге. Что-то там показалось ему подозрительным, и он снова протянул вниз сильную руку, потом поднес к глазам что-то зажатое между большим и указательным пальцами и стал медленно и сосредоточенно разжимать эти пальцы. И вот в какой-то момент там показалась черная точка, мелкое насекомое, давно знакомое Василию Васильевичу Банову. Это была блоха, и губы директора школы вследствие этого открытия скривились. Он передал ей желтоватым ногтем пополам.

Еще какое-то время размышлял Банов о неприятности открытия. Ноги его чесались уже давненько, но до сегодняшнего вечера он списывал все укусы, все красные бугорки на комаров, а оказалось совсем другое. И он вспомнил, где пережил первый за эту осень подобный укус. Было это в день знакомства с Кларой Ройд у нее в квартире. «Как же она там живет?! Это же мучение!» – сочувственно подумал он. Потом достал справочник служебных телефонов, полистал, нашел Московскую санитарную станцию и, сняв трубку с аппарата, накрутил нужный номер.

– Дежурный диспетчер слушает! – ответил по-военному четкий мужской голос.

– Вы с блохами боретесь? – спросил Банов.

– Конечно, – ответили на другом конце провода. – Говорите адрес.

– Школа номер 36, Даев переулок, кабинет директора...

– Завтра в три дня вас устроит?

– А позже можно?

– Конечно. Когда вам удобнее?

– Часиков в шесть... И запишите еще один адрес. Это квартира. Второй Казачий переулок, дом 10/3, квартира 4.

– Фамилия? – спросил голос.

– Кого?! – не сообразил Банов.

– Жильца!

Василий Васильевич помолчал, подумал, потом произнес в трубку отрывисто, как ругательство:

– Шкарницкий! И там тоже лучше вечером, часиков в семь.

– Хорошо, – ответил мужской голос.

– И пожалуйста, – добавил в трубку Банов. – Там, если в квартире и соседи есть, обработайте и их площадь.

– Ясное дело! – ответил голос. – До свидания.

Снова стало тихо. И только нога чесалась, но силы воли у Банова хватало, и он не реагировал на зов укушенной части тела.

Жизнь шла хорошо, и почти все в ней радовало Банова. Можно сказать, что сам он стал больше мечтать, стал радостней и оптимистичней, и все благодаря Кларе Ройд. Был он ей во многом благодарен, но как бы скрывал это, так как думал, что и она благодарна ему за многое, а взаимная благодарность, как он считал, может нарушить спокойное счастье их встреч и вообще

отношений, которые находились на несколько необычном для людей уровне, будучи больше обычной дружбы и как бы выше обычной советской любви.

За окном темнело. Еще вчера в это время накрапывал дождь, а в этот день было сухо. Спокойное время шло медленно, не отвлекая Банова от приятных мыслей. Сегодня или завтра он позвонит Кларе и сообщит ей хорошую новость, новость о том, что одна ее мечта вот-вот исполнится. Ему удалось договориться с заведом Наркомпроса о том, что получит он справку на двоих: на его самого и завуча Кушнеренко о необходимости «вышеупомянутым товарищам совершить по одному учебному прыжку с парашютом с целью повышения практических военных знаний директорско-учительского состава Наркомпроса». Под фамилией Кушнеренко вместе с ним прыгнет Клара, и, думая об этом, Банов даже не мог себе полностью представить ее радости. Хотя, несмотря на его любовь к высоким местам, к колокольням и крышам, прыгать с самолета первый раз в жизни было страшновато, но тут же он укорял себя за трусливость, ставя в пример Клару с ее бесстрашными мечтами.

Неожиданно раздался телефонный звонок. Банов снял трубку. Думал, что это Клара, но тут же вспомнил, что он не давал ей номер телефона.

– Алло, товарищ Банов?! – спросил знакомый мужской голос.

– Да.

– Это из Наркомпроса. Побудьте у себя еще часик, к вам приедет курьер с пакетом. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с бумагами! Всего доброго.

Банов даже не успел попрощаться – наркомпросовец уже положил трубку.

Настроение не то, чтобы испортилось, однако изменилось, ведь собирался он на крышу, думал посидеть часок-другой, полюбоваться полумрачной столицей. А теперь надо было ждать этого курьера...

Чуть больше часа спустя прозвенел звонок. Курьер в военной форме молча вручил пакет небольшого размера с двумя сургучными печатями, тяжело залепившими склеенные бумажные швы, и тут же, козырнув, ушел.

Директор закрыл двери, поднялся к себе.

«Приказ Наркомпроса, – читал он, сидя уже в своем кабинете. – Приказываю настоящим провести во вторник 13 октября сего года во всех школах Союза Советских Социалистических Республик, включая школы дипломатических корпусов, консульств и торговых представительств, располагающихся за рубежом, единый учебный день для учителей всех предметов и классов, за исключением директоров школ, по особой программе. Этот день должен быть полностью посвящен написанию всеми учителями сочинения по одной из предложенных тем. Написание сочинений проводится под контролем комсомольских активов школ. Учителя, находящиеся в момент написания сочинения в командировках или на излечении, обязаны в течение 24 часов предоставить свои сочинения директору ближайшей школы или же школы, к которой они прикомандированы. Каждое сочинение пишется на отдельных сдвоенных тетрадных листках. На первой титульной странице учителя указывают свои ФИО, номер и адрес школы. Написанные сочинения складываются директором в отдельную папку, к которой прилагается учетная записка. После этого папка хранится в кабинете директора под его личную ответственность вплоть до приезда специального курьера Наркомпроса. Директорами и комсомольским активом сочинения учителей не оцениваются и не проверяются.

Приложение 1. Темы сочинений.

1. «Достижения советской школы за последние десять лет. Мой вклад в общеобразовательный процесс».

2. «Моя семья до и после 1917 года».

Дочитав, Банов спрятал приказ в сейф, положив его поверх сочинения ученика 7-Б класса Роберта Ройда, а сам полез на крышу. Дождь не шел, а значит крыша была сухая.

Кларе он позвонил следующим вечером после ухода работников Московской санитарной станции. В кабинете пахло химикатами, но Банов не обращал на это внимания.

– Алло, – раздался в трубке приятный женский голос.

– Добрый вечер! – довольно пробасил Банов.

– Василий Васильевич! Здравствуйте! – голос у Клары был радостный, не то что во время их знакомства. – Ой, у нас здесь сегодня такое было!

– Что? – поинтересовался Банов.

– Соседа забрали на отселение за нарушение санитарных норм. Обработали всю квартиру против блох и тараканов, теперь все так пахнет! Да, и сказали, что я могу претендовать на освободившуюся площадь!

– Ну вот и хорошо! – произнес Василий Васильевич, не совсем понявший, что там произошло со Шкарницким. – А у меня для вас хорошая новость! Угадывайте!

– Ну... не знаю, честное слово, – после паузы забормотала Клара. – Скажите!

– В субботу семнадцатого мы с вами прыгаем с парашютами!

– Ой! Правда?! Как вам удалось?

– Я же обещал! – с ощущением гордости за свою верность слову произнес директор школы. – А как там Роберт?

– Хорошо. Уже все тройки исправил, его же выбрали комсомольским вожаком класса...

– Вот видите! – снова довольным голосом проговорил Банов. – Ну ладно, я вам в пятницу позвоню вечером и сообщу, где встречаемся и в котором часу.

– А до пятницы мы не увидимся? – спросила Клара. Банов помолчал несколько секунд, вздохнул.

– Я, честное слово, хотел бы. Обещаю, если будет время, я вам раньше позвоню!

– Ну хорошо! До свидания! – проговорила Клара.

В тишине кабинета Банов пил чай и думал об этой интересной женщине. Она уже хотела встречаться с ним, с Бановым, почаще, но это немного пугало Василия Васильевича. Он боялся, что частые встречи в конце концов сделают из них обычных хороших друзей, и тогда пропадет эта как бы сумасшедшая романтика. Нет, Банов знал наверняка, что позвонит ей только в пятницу вечером. Позвонит, извинится, что был очень занят всю неделю, и сообщит место встречи в субботу, и уже тогда, в субботу, даже трудно, да и страшно представить – они будут вдвоем в небе под куполами парашютов, и, может быть, у них будет даже немного времени, чтобы поговорить, помечтать во время полета. Совершенно сумасшедшая идея, но как легко она воплощалась в жизнь! И что для этого потребовалось? Почти ничего. Один телефонный звонок в Наркомпрос. Снова ощутив гордость за самого себя, Банов улыбнулся широко и искренне.

Октябрьский вечер снова был сух и темен. За окном что-то жужжало – наверное, какое-нибудь насекомое сопротивлялось наступлению прохлады и не желало засыпать или умирать на зиму.

Глава 19

Продолжалась синяя полярная ночь, подсвеченная многоцветными небесными волокнами, и летели по ней аэросани, в которых поеживался, бодрясь, комсомолец Цыбульник, время от времени посматривая на приборную доску, а на сидении рядом дремал народный контролер Павел Александрович Добрынин. Дремал он и слышал в дреме своей лай родного пса Митьки, и сразу же, сквозь этот лай, словно был это и не звук, а какой-то особый вид теплого тумана, проступало милое и простое личико его жены Маняши. Смотрела она на него, своего мужа, сквозь этот теплый лай и улыбалась широкою деревенскою улыбкою. И от этого видения улыбался и сам народный контролер, улыбался с закрытыми глазами, из-за чего комсомолец Цыбульник с интересом поглядывал на лицо пассажира, думая, конечно, о чем-то своем.

Неизвестное время провели они в пути. Уже и сам Цыбульник засыпал на ходу со штурвалом в руках, и будь это улица, а не сплошная снежная равнина, наверняка врезались бы аэросани или в избу, или в фонарный столб. Но здесь такой опасности не было. Наконец комсомолец облегченно вздохнул и замедлил движение аэросаней. Тише стал и рев двигателя, и, наверно, поэтому проснулся Добрынин, протер глаза, посмотрел по сторонам, а потом – вперед.

А впереди показался маленький одинокий домик с красным флажком на крыше.

– Это что, село или город? – спросил Добрынин, тщетно пытаясь вспомнить якутские определения населенных пунктов.

– Пригород! – ответил Цыбульник, и голос его показался народному контролеру не совсем довольным.

Подогнав аэросани к самому порогу, комсомолец остановил их, отключил двигатель и спрыгнул на снег.

– Вот сволочи! – буркнул он негромко, подойдя к двери.

– Кто? – поинтересовался Добрынин.

– А хер их знает! Проходи! – И, открыв двери, комсомолец пропустил вперед Павла.

Домик был двухкомнатным и холодным. На полу валялись обрывки бумаг, какой-то мусор.

Цыбульник, зайдя следом за контролером, неожиданно рванулся вперед, подбежал к маленькой тумбочке, сделанной, как видно, из военного ящика, распахнул дверцу и громко выматерился, уставясь на пустые полочки.

– Чего там? – спросил Добрынин, подходя к комсомольцу со спины.

– Сперли! – кратко ответил Цыбульник. – Найти бы этих сук и расстрелять!

– А что сперли-то?

– Три чистых тетради и комсомольские взносы.

– А кто ж это мог здесь?! – вслух удивился народный контролер.

– Кто-кто! Эскимосня местная! – пробурчал комсомолец. – Ну я им устрою!

Через пару минут Цыбульник немного успокоился, затопил печку-буржуйку, такую же, какая стояла в аэродромном домике, сделанную из бензиновой бочки. Принес из второй комнаты разломанных досок.

– Спать будете здесь, – показал он Добрынину на коротковатую деревянную кровать, сбитую, как Добрынину показалось, из тех же военных ящиков, украшенных разными трафаретными знаками и длинными рядами секретных цифр.

Постепенно воздух в домике нагрелся. Цыбульник улегся на вторую, точно такую же коротковатую кровать и, сказав, что поспит немного, захрапел.

Добрынин тоже прилег, но спать не хотелось – видно, в аэросанях он достаточно отдохнул. Да и предчувствие скорой работы бодрило его, возбуждало мысли и воображение, хотя и

не совсем понятно было ему, с чего он начнет исполнение своих обязанностей в таком пустынном и северном месте.

Как обычно в минуты бодрого покоя, вспомнил он о подаренной товарищем Калининским книжке и даже сходил в сени, где оставил котомку с вещами, принес ее, родимую, и опустил на деревянный пол у своей кровати. Но тут его опять захватили мысли и воспоминания, и не достал он из котомки книжку, решив заняться чтением в другой раз, который наверняка случится скоро.

Снова прилег, положил голову на твердую подушку, покрытую шершавой мешковиной, и зажмурил глаза, чтобы легче было думать о том теплом и семейном прошлом, которое, как казалось, радовало его многие годы назад, хотя на самом деле было все это совсем недавно, и только физические расстояния между этим прошлым и сегодняшним его северным состоянием измерялись огромными и даже немыслимыми цифрами, которые сравниться могли только с рядами цифр на этих примелькавшихся здесь Добрынину ящиках для всякого военного снаряжения.

А вскоре Цыбульник проснулся, встал, походил по комнатке, разводя руки в стороны с целью физической зарядки, и даже присел пару раз.

– Ну что, – произнес он бодро, отдохнувшим голосом. – Попьем чайку и поедем знакомиться с городом!

Добрынин, заметив изменение тона комсомольца, обрадовался и сам потянулся, взбадриваясь и набираясь жизненной энергией.

Чай вскипел быстро – примус у комсомольца работал отлично и гудел чуть-чуть потише аэросаней, извергая из себя голубоватое керосиновое пламя, которое жадно лизало прокопченное днище медного, давно не чищенного чайника.

«Не хозяин!» – подумал Добрынин, бросив взгляд на чайник и припомнив другой, блестящий как зеркало чайник в аэродромной избе.

А Цыбульник разлил уже чай по двум простым солдатским кружкам, стоявшим на той самой тумбочке, которую кто-то обчистил в отсутствие хозяина дома.

– У тебя к чаю что-нибудь есть? – спросил он.

Добрынин подумал и вспомнил, что осталось в котомке только два надкушенных сухарика.

– Нет. Все там на аэродроме съели...

– Ну ладно, – по-простецкому махнул рукой комсомолец и вытащил из-под своей кровати маленький железный сейф, открыл его особым толстым ключом, и сразу же на тумбочке появилась коробочка с колотым сахаром и пачка печенья, на которой был нарисован красноармеец на посту. Печенье так и называлось – «На посту» и по вкусу напоминало казенные сухари, хотя и было значительно мягче.

– Э-э-эх! – вздохнул, кусая печенье, комсомолец и мотнул головой, словно хотел что-то душевное сказать.

– Трудно? – спросил Добрынин, уловив что-то знакомое в этом вздохе.

– Да-а-а, – протянул Цыбульник. – Нелегко.

– Ну а какие здесь трудности?

– Разные, – ответил комсомолец. – В основном, конечно, это трудность работы с местным населением. Они ж дикие. По-человечески, по-русски, только двое говорят, из них один шаман – местный поп, а значит враг рабочего класса, а второй – просто вылитый предатель. А остальные – забитые необразованные люди и почти все – воры!

– Да-а-а... – протянул в свою очередь Добрынин, понимая Цыбульника и вспоминая о своем родном колхозе, в котором, правда, по-русски говорили все.

– Я здесь уже второй год, – после очередного вздоха, продолжил комсомолец. – А сколько уже сделал! Просто не верится! Составил карту вредных мест, заменил двух идолов...

– Чего? – переспросил Добрынин.

– А-а, – тот махнул рукой. – По дороге в город покажу, объяснить это трудно. Бери сахар, только Кривицкому о сахаре не говори!

– А что – отберет? – поинтересовался Добрынин.

– Конечно, отберет. – Цыбульник кивнул. – Шаман ужас как сахар любит. А он же теперь заместитель Кривицкого.

– Как?! – воскликнул народный контролер. – Местный поп – заместитель у главного коммуниста города?!

– Да, – сказал Цыбульник. – Ну а что делать? Второго коммуниста здесь на ближайшие тысячу километров нет. Ну приняли мы в партию три северных народа, ну тех, что здесь поблизости живут, но они же по-русски ни бум-бум, и кроме того все – воры. А шамана они все равно слушаются, что он им скажет, то и делают. Ну а говорит он им то, что Кривицкий ему скажет.

– А-а-а, – понял Добрынин. – Значит, шаман – это представитель местной интеллигенции, на которую надо опираться?!

– Да, точно! – подтвердил комсомолец добрынинскую мысль. – Представитель, но все равно сволочь! А сахар как любит! Ни одна лошадь так сахара не любит, как он!

Упоминание о лошади заставило Добрынина убрать с лица улыбку. Вспомнился теперь народному контролеру конь Григорий, глупо и незаслуженно погибший в снегах этого жестокого Севера.

– Так что лучше при нем и не говорить о сахаре.

– А ты сюда откуда приехал? – спросил комсомольца Добрынин, все еще находясь в размышлении о трагической судьбе коня.

– Я? С Украины. С Житомирщины. Там у нас богатые земли! Не то, что здесь – куда ни плюнь – снег. Да ведь и не плюнешь по-нормальному!

– А я из Манаенковской области... – сказал Добрынин. – У меня там жена осталась, двое ребятишек и пес.

Дальше чай пили молча. Видно, каждый окунулся в свое прошлое и нежился мыслями в нем, не желая возвращаться так быстро к сегодняшним проблемам и заботам. Цыбульник то и дело подтягивал нижнюю губу, словно хотел укусить ее – и было понятно Павлу, что о чем-то комсомолец жалеет, грустит о чем-то, но не спрашивать же его об этом, ведь и Добрынину тоже есть о чем пожалеть, хотя жалость эта будет неразумной и ненужной, так как пожалеть он может лишь о том, что оставил свою семью на не определенное Родиною время.

– Ну что, – Цыбульник, допив чай, поднялся. – Поедем?! По дороге я тебе одно место покажу.

Перед тем, как выйти, комсомолец уложил сахар, недоеденное печенье и коробочку с чаем в сейф, закрыл его толстым коротким ключом и задвинул под свою кровать.

Добрынин прихватил котомку, и они отправились дальше. Снова ревел двигатель, и свистел, разрезая морозный воздух, пропеллер. Аэросани неслись по гладкому снегу под волнующимися и светящимися волокнами северного неба. Неслись, повинувшись уверенным рукам Цыбульника.

Земля, покрытая снегом, начинала впереди немного горбатиться, искривляя линию горизонта, неясного, но все-таки видимого, несмотря на ночь. Комсомолец сбавил скорость, и аэросани легко преодолели первые холмики и неглубокие впадинки, похожие на блюдца.

– Подъезжаем! – сообщил Цыбульник.

Добрынин с нетерпением вглядывался в окружавшую их ночь, видел холмы, видел снег, но больше ничего видно не было.

Еще через какое-то время комсомолец молча указал рукою на более высокий холм, возникший впереди.

– А что там? – спросил народный контролер.

– Сейчас увидим! Главное, чтобы там никого не было.

Перевалив через тот высокий холм и уже при выключенном двигателе скатившись вниз, аэросани остановились около действительно странного места. Добрынин из-за любопытства прыгнул на снег первым и тут же быстрыми шагами подошел к круглой площадке коричневого цвета – видимо, специально очищенной от снега. Посередине площадки из мерзлой земли торчал деревянный столб, оканчивавшийся, как показалось Добрынину, знакомой человеческой головой. А под столбом черным пятном лежала зола.

– Что это? – спросил Добрынин.

– Вот это? То, о чем я и говорил. Святое место. Раньше здесь было чуть-чуть по-другому: стояло несколько простых столбов-идолов. Но мы тут немного изменили. Оставили один столб с бюстом Ильича.

– А зачем? – искренне удивился народный контролер.

– Как зачем? – тоже искренне удивился вопросу контролера Цыбульник. – Есть же специальная программа «ПО ОБЛЕНИНИЮ ЗАПОЛЯРЬЯ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА». Вот по этой программе надо перестроить все культовые места северных народов в ленинские уголки и агитплощадки. Я пока только два таких места переделал, а здесь рядом еще мест двадцать. Но вот бюстов не хватает. Я заказывал тридцать, а прислали два.

Добрынин слушал комсомольца с большим интересом. Сразу появилось и утвердилось в душе Добрынина уважение к этому сильному человеку, променявшему богатые земли Житомирщины на сплошные снега Заполярья. И с горечью он подумал о своей недавней слабости, когда то ли в полудреме, то ли в другом не совсем сознательном состоянии он чуть не пожалел о том, что оставил далеко позади свою семью, которую, конечно, любил он горячо, но все-таки не так горячо, как Родину. Ведь ясно было и без обдумывания, что Родина у человека одна, а семей может быть несколько.

– ...а здесь они своих сжигают, – показал Цыбульник рукой на след от костра.

– Мертвых, что ли?

– Как когда, – ответил комсомолец. – Я ни разу не видел, но думаю, что и живых тоже. В жертву приносят, чтобы охота лучше была, чтобы рыба ловилась. Такие у них заблуждения.

– В жертву?

– Да, идолам своим. Ну теперь это, конечно, уже не так. Постепенно отучаем их. Теперь они одному идолу приносят. И даже Ленина как-то по-своему называли. А совсем скоро, когда старые заблуждения начнут забываться, мы во всех этих местах полноценные памятники вождю поставим и приучим эскимосню цветы к памятникам приносить, а не людей сжигать под ними. Это же дикость прямо какая-то. Я как только прибыл сюда – удивлялся страшно, а теперь привык и просто жду.

– Да-а-а... – выказал удивление народный контролер. – А живут они как? Ну там, жены у них есть? Дети?

– Да есть, конечно, – отвечая, комсомолец подошел поближе к столбу, поверх которого был укреплен бюст Ильича, и стал внимательно разглядывать этот бюст. – Что это они там на плече у Ленина вырезали?! А? – спросил он сам себя и потянулся на носочках еще выше.

– А что там?

– Рыба какая-то с клыками, – говорил Цыбульник. – Нет, это, наверно, морж.

– Морж? А это что?

– Зверь морской, – объяснил кратко комсомолец. Потом обернулся к Добрынину и продолжил: – Очень злой зверь. Если в стадо соберется – может много людей убить, особенно рыбаков. Это они, наверно, в религиозных целях на плече у вождя моржа вырезали. Тоже, наверно, для удачной охоты.

Подивился Добрынин местным заблуждениям: уж и впрямь на что русский народ заблуждаться любит и умеет, но до идолов и до сжигания людей дело не доходило. Значит Север –

место серьезное, и послали его сюда не просто так. Видно, есть здесь что проверять и контролировать.

Вернулись к аэросаням и продолжили путь в направлении города Хулайбы.

* * *

Город Хулайба состоял из трех больших деревянных изб и нескольких чумов. Лежал город в ложбинке между трех холмов, причем на вершине одного из холмов так же, как и на крыше аэродромной избы, стоял ветроопределитель, и его полосатый красно-белый сачок то надувался, наполняясь морозным ветром, то безвольно опадал, что свидетельствовало о непостоянстве движения воздушных масс.

Выйдя из аэросаней, Добрынин и Цыбульник зашли без стука в избу, на двери которой значилось «Хулайба дом №». Зашли, остановились перед следующей дверью. Тут уж комсомолец постучал и, услышав донесшийся с другой стороны выкрик, открыл дверь.

В просторной комнате было тепло. Буржуйка стояла в самом углу, и было слышно, как шипят и потрескивают в ней горящие дрова. Рядом тоже лежали дрова – березовые. Добрынин залюбовался кудряшками березовой коры и даже не посмотрел на человека, который, поднявшись над своим столом, приветствовал вошедших приятною улыбкой.

– Ну, с приездом! – говорил человек.

Добрынин спохватился, обратил на него свое внимание. Кивнул.

– Я – Кривицкий, – объявил человек, встретившись с народным контролером взглядом. – Председатель Хулайбы. А вы – Павел Александрович Добрынин? Верно?

– Да, – подтвердил Павел.

– Ну, очень рад! – сказал Кривицкий. Потом обернулся к комсомольцу. – Техника не подводила?

– Нет, – отчеканил тот. – Лучше самолета!

Добрынин разглядывал Кривицкого и делал о нем свои выводы. Видно было, что человек он сильный и большой, высотой с комсомольца Цыбульника, но лицо имел бабье, и это не то чтобы совсем не понравилось народному контролеру, но вызвало в нем кое-какие сомнения относительно твердости характера.

В комнате же все свидетельствовало наоборот – о твердой руке хозяина. И стол, широкий и достаточно длинный, и красное знамя, стоявшее в другом углу, установленное в специальную крестовину. А кроме того на стене над столом висел очень необычный портрет самого Кривицкого. На другой же стене – обычный портрет вождя Ленина, читающего газету «Правда». Под портретом Ленина чернел солидный, метра полтора в высоту, несгораемый шкаф.

Оглядевшись вокруг и снова улучшив свое ощущение хозяина этого кабинета, Добрынин возвратил свой взгляд на необычный портрет Кривицкого. Что-то в этом портрете было шершавое.

– Нравится? – поинтересовался председатель Хулайбы.

– Интересно, – признался народный контролер. – Это как-то не так сделано...

– Редкая работа. – Кривицкий кивнул с гордостью. – Портрет из ценных мехов северных животных: щеки из соболя, брови из моржовых усов, усы – из тюленьей шкуры. Это подарок одного местного народа. Я им еще портрет Ленина заказал для музея в Москве. Хочу туда передать, так что если все будет в порядке – возьмете с собою, когда в столицу полетите.

– Хорошо, – согласился Добрынин. – А что тут у вас есть для проверки... чтобы контроль чего-нибудь сделать?

– Ну об этом завтра поговорим, Павел Александрович, – мило по-женски улыбнулся Кривицкий. – А сегодня отдыхайте. Я дал распоряжение на площади провести базар в честь вашего приезда, так что можете посмотреть, как мы тут живем, взять себе что-нибудь местное, а на

ужин вас с товарищем Цыбульником товарищ Абунайка пригласил, мой заместитель. Он из местных, но в отличие от них по-русски говорить умеет.

* * *

На небольшой площадке, как раз между деревянными избами и чумами, сидели прямо на снегу, только подложив что-то под себя, местные жители – человек десять. Перед ними лежали товары, но пока Добрынин с Цыбульником не приблизились вплотную, понять, чем на этом базаре торгуют, было нельзя.

Народный контролер, затаив дыхание, с любопытством остановился в нескольких метрах от «торговых рядов» и стал рассматривать товары. У одной бабки с удивительно плоским лицом, загорелым до коричневости, на котором видны были только две узенькие щелочки глаз, товар был в основном мясной: строганина, которую Добрынин еще никогда не видел, засоленное мясо неизвестных зверей и какие-то мясные палочки длиной в человеческую руку. Добрынину захотелось попробовать эти невиданные продукты Севера, и, видно, Цыбульник заметил это желание во взгляде народного контролера, а может быть, Добрынин просто облизнулся, сам этого не заметив. Комсомолец сразу же подошел к нему и, наклонившись к уху, прошептал:

– Можете брать все, что нравится!

– Да как-то нехорошо... – прошептал в ответ Добрынин и тут же задумался – а почему это они шепотом разговаривают, если здесь никто по-русски не понимает.

Но тут Цыбульник снова зашептал, но уже громче:

– Берите, не бойтесь. Во-первых, видно же, что вы – русский. Ну а если так брать вам не нравится, то я вам служебный пароль скажу, а вы, когда что-нибудь нравится, будете говорить пароль и пальцем показывать на ту вещь, которую купить хотите...

Эта идея понравилась Добрынину. Просто так брать только потому, что он – русский, – было в этом что-то нескромное, неприятное. Ну а если есть специальный пароль, значит, введен такой порядок, а следовательно, это свыше организовано.

– А какой пароль? – спросил народный контролер.

– «Бурайсы».

– Странный пароль, – негромко проговорил Добрынин.

– Это на местном языке, – объяснил комсомолец.

Народный контролер подошел к загорелой бабке, ткнул рукою в самую длинную мясную палочку и сказал: «Бурайсы!»

Бабка проворно взяла мясную палочку и протянула народному контролеру.

– Спасибо, – сказал Добрынин бабке.

– Не надо! – Цыбульник посмотрел на контролера, чуть скривив губы. – Они же все равно этого не понимают.

Прошлись вдоль разложенных на снегу товаров. Добрынин за пароль «купил» еще несколько кусков странного мяса. Попробовал откусить кусочек от мясной палочки, но она оказалась такой соленой, что сразу на морозе у Добрынина защемили губы.

Цыбульник «купил» за пароль несколько штук какого-то мехового зверя, не знакомого Добрынину.

– Штаны чинить надо будет, протерлись уже, – пояснил он Добрынину.

В общем базар был бедненький и непонятный. Продавцы сидели, а покупателей, кроме контролера и Цыбульника, не было. Правда, заметил Добрынин, что сами продавцы между собой что-то обменивали, но старались это делать незаметно и за спиной представителей русского народа.

Перед тем, как покинуть базар, Добрынин уложил все покупки в котомку, затянул веревку и забросил котомку на плечо. И тут кто-то прикоснулся к нему. От неожиданности

Добрынин вздрогнул, обернулся. Перед ним стоял невысокий, ему по плечо, местный житель, который, правда, отличался от остальных присутствовавших. Лицо у него было не такое широкое, как у той бабки и других продавцов, а кроме прочего были у него настоящие усы, закрученные сверху.

– Русский! – сказал он мягким, чуть шипящим голосом. – Давай менять соболь на штуку! – и он дотронулся до котомки, висевшей на плече.

– Нет, товарищ, – уважительно ответил контролер. – Не могу – жена подарила...

– А-а, – кивнул местный житель. – А хорошая штука!

Добрынин на всякий случай развел руками, показывая, что он действительно не может это поменять, и поспешил к ожидавшему его чуть поодаль комсомольцу.

– Чего он от тебя хотел? – спросил Цыбульник.

– Соболя на котомку поменять...

– А сколько он соболей давал? – поинтересовался комсомолец.

– Не знаю, – признался Добрынин. – Я отказался. Все-таки жена подарила.

– Ну правильно! – кивнул Цыбульник, но на лице его на мгновение появилась, а потом исчезла ехидная улыбочка. – Пойдем сейчас к Абунайке, отдохнем у него, только не говори, что у меня сахар есть!

– Да нет, помню! – сказал Добрынин.

– А этот, что тебе соболя предлагал, это тот второй, что по-русски умеет. Его Ваплахером зовут. Надо же, чтобы мама такое имечко дала!

– Наверно, нерусская была, – произнес Павел. – Русская бы так свое дитя не назвала.

– Это точно! – подтвердил Цыбульник.

Абунайка жил в стороне от городка. Жилище его не было ни избой, ни чумом.

– Это на их языке балаганом называется, – объяснил Цыбульник. – В таких балаганах самые уважаемые люди на Севере живут, из местных народностей, конечно.

У входа в балаган на снегу лежали несколько пушистых собак, а рядом с ними – сани со сваленной на них собачьей упряжью.

У Добрынина сразу потеплело на сердце. Как увидел он собак, так сразу и село свое вспомнил, и жену, и пса Митьку, глупого и шумливого.

– Дома сидит Абунайка! – тоже глядя на собачек, сказал комсомолец. – Сейчас мы его покормить нас попросим. А позже, может, и товарищ Кривицкий придет.

Если на улице, несмотря на ночь, было все видно, то в балагане, когда они зашли, царила настоящая темнота и кто-то храпел.

– Эй, Абунайка! Бурайсы! – крикнул в темноту комсомолец, и сразу же кто-то в этой темноте вскочил, забормотал что-то на непонятном языке, а потом прозвучало по-русски: «Уже-уже!» Вспыхнула спичка, сделала дугу в темноте и, видимо, соединившись с фитилем керосиновой лампы, родила свет. В этом свете, немного разгоревшемся и осветившем весь балаган, появилось и лицо старика, усеянное морщинами. Длинные черные с проседью волосы опускались на плечи, ложились на грязно-белый воротник оленьей шубейки, коротковатой и украшенной внизу узкой полоской темного меха.

– Эй, кто, Цыбульник? – спросил старик, вглядываясь в пришедших. – Совсем плохо глаза видят.

– Да, Абунайка, это я с гостем.

– А гость откуда? – спросил старик.

– Издалека, почти из Москвы, – ответил комсомолец.

– А-а-а, – промычал Абунайка. – Какой далекий гость! Для далекого гостя надо что-то сделать...

– Слушай, старик, – Цыбульник подошел прямо к Абунайке и, вытащив из кармана замороженный конский орган, протянул его хозяину балагана. – Сделай холодец, может, Кривицкий приедет. Посидим...

– Ай-яй-яй... – замотал головой старик. – Это ж надо еще три оленьих... ай-яй-яй... бедные олешки... ну хорошо, Абунайка скоро придет!

И, подняв с пола большой нож, очень похожий на серп, старик вышел из балагана, оставив Добрынина и комсомольца одних.

– Тут холодно, как на улице... – проговорил народный контролер. – Он что, печку не топит?

– А зачем ему? Он так живет.

– И не замерзает? – удивился Добрынин.

– Нет. Он вместо печки молочную водку пьет перед сном. Тарасун называется. Крепкая гадость, из оленьего молока и еще чего-то делается.

Немного привыкнув к освещению, Павел осмотрел жилище, но ничего интересного или особенного не увидел. Все стены изнутри были покрыты оленьими шкурами мехом внутрь, пол тоже был устлан чем-то таким, но бурого цвета, в одном углу лежала целая гора каких-то тряпок или шкур, и Добрынин подумал, что это, должно быть, кровать. И все было бы ничего, если бы не едкий неприятный запах, который с каждой секундой становился все сильнее и резче. Не выдержав, Добрынин закашлялся.

– Пройдет! – успокоил его Цыбульник. – Это он здесь лекарство из оленьей мочи готовит. От всех болезней помогает, но только своим. Русским это лекарство пользы не приносит. Наверно, организм другой. Но зато вонь! Ну ладно, садись!

– Куда? – спросил, снова осматривая бурый пол, Добрынин.

– Давай на кровать его сядем!

Они прошли в тот угол, где лежала куча тряпок и шкур, и уселись на нее.

– Он сейчас придет, его стадо тут рядом, за холмом, – говорил Цыбульник. – Придет, выпьем. Согреемся.

Ждать старика действительно пришлось недолго. Вернувшись, он разжег костер прямо в балагане, поставил железную треногу и подвесил над еще слабеньким пламенем казанок с водой, куда бросил конский орган и что-то еще. Только после этого он подошел к гостям и сказал:

– Уже-уже, Абунайка холодец сделает, русский человек Кривицкий будет доволен...

– Тарасун давай, – полушутливо потребовал у старика комсомолец. – Холодно совсем.

– Тарасун... – Абунайка кивнул и полез за «кровать», наклонился там, что-то бурча на родном языке, потом вытянул из-за «кровати» бутылку мутного стекла, заполненную молочного цвета жидкостью.

– Тарасун вкусный... – закивал он, поднимая второй рукой с пола кружки и протягивая их Цыбульнику и Добрынину.

– Держи, Абунайка тарасуна нальет... тарасун крепкий... не замерзнет совсем... далекий гость пусть первый пьет!

Добрынин пригубил из кружки и сразу почувствовал, как приятно защипало в горле, и кисловатая теплота покатилась вниз, в самое нутро народного контролера. Он сделал еще один, настоящий глоток и закричал, зарыскал взглядом по балагану в поисках закуски или хотя бы занюшки.

Цыбульник понял, в чем дело, и протянул к лицу Добрынина руку. Народный контролер наклонился к ней и, уткнув нос в меховой рукав куртки, сделал громкий носовой вдох, потом второй.

– А-а-а! – радостно сказал старик. – Далекому гостю тарасун понравился?

– Хорош! Очень хорош! – Павел кивнул, одобрительно глядя на хозяина балагана. – А что, каждый день пьете?

– А-а-а, – заулыбался снова Абунайка. – Далекий гость не знает, что сегодня ночь...

– Знает! – грубо оборвал его комсомолец. – Далекий гость забыл!

– Ай, русский человек Цыбульник, не обижайся. Абунайка старый, русский язык знает плохо...

Разговор был какой-то глупый, и из-за этого Добрынин налил себе еще одну кружку тарасуна.

Вскоре пришел Кривицкий. Старик громко обрадовался его приходу. Заговорил громко, словно сам был глуховат:

– Холодец уже-уже будет вкусным! Тарасун свежий! Очень свежий!

– Давай своего тарасуна! – сказал ему Кривицкий и, получив сначала металлическую кружку, а потом уже и заполнив ее молочной жидкостью, сделал несколько сильных глотков.

Абунайка захлопотал около костра, снял треногу с казанком и вынес из балагана. Потом вернулся.

– Уже-уже застынет.

– Как-то вы неорганизованно тут... – произнес Кривицкий, глядя на Цыбульника и народного контролера. – В балагане гости на полу сидят, а не на хозяйской лежанке!

Добрынин послушно поднялся и опустился на пол. Комсомолец тоже присел рядом, а потом уже и сам Кривицкий уселся, дополнив собою геометрическую фигуру национального застолья.

– Ай-яй-яй... – бормотал, роясь за «кроватью», старик.

– Да, товарищ Цыбульник! – заговорил вдруг Кривицкий, обернув свое по-женски милое лицо к комсомольцу. – Радиограмма была из Якутска. Получили там для тебя шестьдесят восемь спецбюстов вождя, так что когда соберешь с населения партвзносы, поедешь в Якутск. И захватишь там для меня березовых дров – подарок от моего кремлевского друга!

Упомянув про кремлевского друга, Кривицкий бросил взгляд на Добрынина, словно проверял, произвело ли это на него нужное впечатление.

Народный контролер же, услышав про друга, вспомнил о товарище Калининe и подумал: а есть ли у него сейчас чего-нибудь к чаю или так пьет он чай, без всякой прикуски.

– Слушаюсь, товарищ Кривицкий, – комсомолец кивнул. – А разве не рано еще взносы собирать? Недавно же я собирал, и амбарчик уже забит – все равно складывать их негде.

– Амбарчик уже пустой, – резко ответил товарищ Кривицкий.

– А когда забрали? – удивился комсомолец.

– Пока ты ездил.

– А-а-а, – донеслось радостное мурлыканье Абунайки. – Нашел, вот еще тарасунчик! – и старик опустил на пол перед сидящими гостями еще одну бутылку молочной водки. – А я уже-уже холодец несу...

– А не опасно целый амбар денег хранить тут, если воруют... – вставил свою мысль в разговор Добрынин.

– Каких денег?! – переспросил Кривицкий. – Денег тут нет.

– А взносы партийные?

– Так это же не деньгами, а соболиными шкурками собираем. – объяснил председатель Хулайбы. – Потом отправляем в Москву, а дальше уже не наша забота. У нас тут три партийных народа, добрых два десятка сел...

Снова появился старик, завис на мгновение над сидящей компанией, опустил на пол казанок с застывшим холодцом, а потом и сам присел рядом.

– Холодец хороший... – сказал он, заглядывая в глаза товарищу Кривицкому.

По кружкам налили еще тарасуна. Потом старик протянул две ладони к казанку и сказал Кривицкому:

– Бери холодец, не обижай Абунайку!

Председатель взял кружку в левую руку, а правую полез прямо в казанок, порылся там, превращая застывший холодец во что-то белое и разрыхленное, и вытащил синевато-коричневый то ли конский, то ли олений орган.

Потом старик повернулся к далекому гостю Добрынину и сказал те же слова: «Бери холодец, не обижай Абунайку!»

Брезгливо стало на душе у народного контролера, но помня, что национальные супы и прочее надо уважать, он протянул руку к казанку и, стараясь быть аккуратнее и не очень испортить блюдо, быстренько нащупал там что-то твердое и длинненькое и, вытащив его, поднес ко рту.

Комсомолец тоже был проворен и легко вытащил из казанка свою порцию. А уже потом и хозяин балагана взял в руку вытащенный из холодца орган и поднес кружку к губам.

– Ну... – задумался вслух товарищ Кривицкий, а потом сказал: – За победу социализма в Заполярье!

Глухо стукнулись кружки. Добрынин глотнул тарасуна и автоматически сунул в рот то, что держал в руке. Орган оказался чуть жестковатым, но жевался легко. Только прожевав первый кусок, народный контролер неприятно задумался о том, что в нормальной жизни русские люди органы не едят. И как-то сама собой от этой мысли возникла в организме народного контролера тошнота, но Добрынин живо утихомирил ее и запил эти ненужные раздражающие мысли несколькими глотками тарасуна. Потом налил в кружку еще.

– Абунай-гин! – донесся окрик из-за толстой меховой двери балагана. – Уркэ бими нэл-эскэн ниврэн!

– Чего это? – недовольно спросил товарищ Кривицкий.

– Абунайку поговорить зовут, – объяснил, поднимаясь, старик. Наклонившись и приподняв толстую меховую дверь, он выскользнул из балагана.

Добрынину было очень хорошо. Тепло невиданной нежности разливалось по его ногам и рукам, и даже в голове он ощущал приятные, не объяснимые русским языком приливы чего-то улаждающего настроение. Дожевывая орган, он налил себе еще тарасуна, уже не обращая внимания на также молча пьющих товарищей. Тишина, конечно, не нравилась ему. Куда приятней было бы, если б возникли вокруг родные русские звуки: лай или вой собаки, хлопанье дверей, а то и просто звук дождя. Да ведь и тут, возле самого этого балагана лежат на снегу пушистые собаки, что у них, лай другой, что ли?! Нет, один у собак лай! Вот если б они залаляли... Облизнувшись от вкусной мечтательной мысли, народный контролер зачерпнул пальцами немного оставшегося в казанке от холодца жира и запихал его в рот, добавляя маленькие приятные глотки молочной водки.

Вернулся Абунайка. Быстренько уселся на свое место и тоже взял рукою из казанка жира.

– Про что говорили? – строго спросил товарищ Кривицкий.

– А-а, спросили поджечь дом Бутуная, он с охоты еще не пришел...

– И что, разрешил? – допытывался председатель Хулайбы.

– Разрешил, – старик кивнул. – Абунайка добрый, Абунайка все разрешает...

– Ну спасибо... – Кривицкий поднялся. – А мне еще работать надо... Спасибо за холодец... Пойду я.

Нетвердо держась на ногах, председатель Хулайбы выбрался из балагана и потопал в своих высоких унтах по спокойному, смирно лежащему снегу.

Добрынин с комсомольцем допили вторую бутылку. Комсомолец между глотками пробурчал что-то недовольное по поводу сбора партвзносов, назвав это «собачьим делом», из чего далеко не трезвый народный контролер понял, что Цыбулькину такое поручение не нравится.

– Греться пойдем? – вдруг спросил-предложил старик Абунайка. – Тепло будет, жарко будет...

– Куда это? – поинтересовался Добрынин.

– У огня греться! – пояснил старик.

Все трое вышли в синюю заполярную ночь. Добрынину внутри и так было тепло, и, конечно, с гораздо большим удовольствием остался бы он сидеть, а может быть, даже и лежать на буром меховом полу балагана, но, помня первый рассказ о Ленине, он не стал перечить хозяину и отвечать на его предложение отказом.

– Во-о-он! – старик показал рукою на заметное зарево за холмом. – Туда идти будем. Там тепло.

Пока шли, Добрынин ощутил силу холода и покрепче сжимал кулаки в карманах своего оленьего кожуха.

– Холодает, – произнес Абунайка. – Будет еще холодней скоро!

– Куда еще! – недовольно буркнул комсомолец.

На ходу он пошатывался, видно, трудно было пьяным ногам нести такое большое и тоже пьяное тело.

Когда обошли холм, увидели пламя большого костра и небольшие фигурки людей, стоявших рядом.

– А зачем дом сжигать?! – спросил Добрынин, стараясь шагать рядом с быстроногим стариком.

– Так надо, – отвечал на ходу Абунай. – Если рыбак или охотник домой не вернулись – надо сжигать дом, чтобы злые духи там не поселились... Если поселятся – то потом перейдут и в другие дома жить, и много беды будет.

Ошарашенный объяснением, Добрынин на мгновение замедлил шаг, подождал шедшего позади комсомольца и спросил его:

– А что, здесь вправду злые духи есть?

Цыбульник посмотрел на народного контролера затуманенным молочным взглядом.

– Немного, но есть... – с трудом выговорил он.

У горящего чума стояли местные жители в красивых отороченных разными украшениями оленьих шубейках. Увидев Абунаю, они посторонились.

Старик подошел к самому пламени, поклонился огню низко, почти до самого снега. Потом запричитал заунывно на своем языке. Тут же и остальные местные жители поклонились огню.

– Чего это они? – спросил Добрынин у стоявшего рядом комсомольца.

– Дикие обычаи, – сказал Цыбульник. – Скоро танцевать начнут!

– А если хозяин дома вернется, где жить будет?! – снова спросил народный контролер.

Комсомолец пожал плечами.

Пламя разгоралось сильнее, а старик Абунайка все завывал и завывал на своем языке, размахивая руками и время от времени кружась, как заводной волчок.

– Я назад пойду, а то холодно, – проговорил комсомолец.

– Куда назад? – спросил его Павел.

– В балаган, у старика заночуем сегодня... со мной пойдешь?

Добрынин подумал и решил остаться и посмотреть на местные обычаи.

– Ну как хочешь, – произнес напоследок Цыбульник.

Добрынин подошел поближе к огню, только остановился он чуть в стороне, чтобы не мешать Абунайке, который теперь выкрикивал какие-то звуки, поворачиваясь то к огню, то к слушавшим его местным жителям.

И вдруг народный контролер почувствовал, как кто-то толкает его в спину, и обернулся, ощущая в своем теле дрожь: то ли от испуга, то ли от холода.

Сзади стоял уже знакомый Добрынину местный житель, который совсем недавно предлагал народному контролеру обменять котомку на соболя.

– Сначала привет твоему гладкому лицу и твоей мудрости, потом разговор, – произнес местный житель, заглядывая в глаза народному контролеру.

– Привет, – оторопело ответил на странную фразу Добрынин.

– Русский человек вчера приехал? – спросил местный житель. – А я здесь давно живу и много знаю. Зовут меня Ваплахом...

Когда местный житель назвался, припомнилось Добрынину, как называл этого парня комсомолец, и призадумался он, не услыша в этот раз в нерусском имени ничего ругательного. А ведь Цыбульник имя по-другому произносил...

– Я – народ не местный, – продолжал парень по имени Ваплах.

– Да какой же ты народ?! – удивился Добрынин и тут же почувствовал, что приятный теплый хмель прошел, и все в народном контролере и внутри, и снаружи стало холодным и тяжелым. – Народ – это когда много людей, а ты – один человек...

– Не-е-ет, – упрямо протянул Ваплах. – Я народ – урку-емец... Больше, кроме меня, в этом народе никого нет, не осталось...

Тут Добрынин задумался. Об урку-емецком народе он никогда не слышал, но это не было удивительно, ведь раньше он думал, что сразу за Москвой страна кончается и начинается заграница.

– Ну вот... а как русского человека называть? – вдруг сам себя перебил вопросом Ваплах.

– Павел Добрынин...

– Если русский человек Добрынин останется одним русским – значит станет он русским народом... а если он потом умрет, то больше русского народа не будет...

Станные слова Ваплаха немного озадачили Добрынина, а тут еще Абунайка стал подпрыгивать с громкими выкриками, и с каждым прыжком он приземлялся ближе и ближе к народному контролеру. Пламя постепенно притухло, местные жители негромко причитали нестройным хором, постоянно повторяя слово «ОЯСИ-КАМУЙ». Ногам было холодно, а тут еще этот Баллах, который считает себя народом...

– Будет русский народ, будет! – немного раздраженно и устало сказал Добрынин.

– Пусть русский человек не обижается, его народ всегда будет, а мой народ умрет...

– Что за черт! – народный контролер вздохнул тяжело и посмотрел на парня прищурившись. – Чего он умрет?!

– Я умру, и народ умрет... а больше в народе никого нет... всех убили...

Захотелось Добрынину как-нибудь повежливее отвязаться от этого непонятливого местного жителя, возомнившего себя народом, и кашлянул народный контролер, подошел к Абунайке, который, попрыгав вокруг костра, остановился рядом и стоял спокойно, видимо, отдыхая. Подошел к Абунайке и сказал:

– Может, назад в балаган пойдем?

– Пойдем-пойдем, уже-уже пойдем, – старик закивал головой. – Я уже все сделал.

Добрынин оглянулся и с облегчением заметил, что Баллах исчез.

Местные жители поклонились старику, попрощались с ним словесно и тоже пошли куда-то. А старик, дотронувшись до руки Добрынина, чтобы привлечь его внимание, повел его назад в балаган.

Шли они медленно. В голове у народного контролера было тяжело и туманно.

Когда вошли в балаган, увидели лежащего на полу, раскинув руки, комсомольца. Он зычно храпел.

– Надо подвинуть и накрыть, – деловито сказал старик. – Цыбульник – человек слабый, простудиться может.

Из последних сил помог Добрынин Абунайке затолкать Цыбульника к «кровати» и свалить на него несколько оленьих шкур. После этого народный контролер устало уселся на бурый мех пола и перевел дух. Гул в голове стих, и он спросил старика, есть ли у того еще немножко молочной водки.

– Зачем немножко?! – удивился старик. – Много есть, много! – и он снова полез за кровать, вытащил еще одну бутыл.

Разлили по кружкам, выпили. Снова по внутреннему миру Добрынина полилось нежное, приятное тепло, и окунувшись он полностью в это тепло и понял, что если б сейчас еще собака залаяла – полное бы счастье возникло в чувствах народного контролера. И тогда он спросил старика:

– Товарищ Абунайка, а собаки твои лают?

– Очень редко... они хорошие, смирные...

– А заставить их гавкнуть можно? – продолжал допытываться Добрынин.

– А зачем, они хорошие, смирные... – бубнил старик.

– Да я очень хочу лай послушать. У меня там далеко, дома, собака есть, такой звонкий пес... Митька... – народный контролер говорил так душевно, что не привычный к подобным разговорам Абунайка даже рот открыл.

– Русский далекий гость свою собаку любит! – радостно сказал он. – Хочет лай послушать?!

– Очень хочу!

– Абунайка сделает... Абунайка гостей любит...

И старик вышел из балагана. Комсомолец храпел уже потише, или же просто оленьи шкуры, которыми он был накрыт, не пропускали его зычный рык наружу. А Добрынин наслаждался своим состоянием.

– Ары... ары! – донеслось до народного контролера.

Это старик втаскивал в балаган сонную собаку, которая не очень хотела входить и лениво упиралась лапами.

– Ары-ары! – приказывал ей старик, таща ее за загривок прямо к гостю.

Наконец он дотащил пса, усадил его между собою и Добрыниным и, показывая на народного контролера, заговорил с собакой по-русски:

– Видишь, далекий гость пришел, русский гость... лаять надо, «ав! ав!»

Но собака водила мордой то на хозяина своего, то на Добрынина и, казалось, совершенно не собиралась лаять.

– Ары-ырьсь, видишь, русский гость просит, пришел, ну лай, лай! – снова попросил собаку хозяин, но она все равно молчала, и тогда старик взял и с размаху стукнул ее пустой кружкой по спине. Собака гавкнула, а старик, обрадовавшись, стукнул ее еще раз. То ли от боли, то ли от неожиданности собака залилась звонким красивым лаем, и, очарованный родными, привычными звуками, Добрынин прикрыл глаза и поплыл в мягкий и теплый весенний сон, где лежал он на покрытой одуванчиками полянке, а рядом игрался, лаял и катался на спине любимый пес Митька.

Старик все лупил и лупил своего пса, а пес лаял все громче и громче, и даже комсомолец проснулся и выглянул из-под сваленных на него оленьих шкур.

– Чего шумишь? – спросил он очень недовольно, ощущая кроме общего неприятного шума в балагане еще и собственную головную боль.

– Далекий гость просил пса полаять, – объяснил старик, перестав бить собаку кружкой.

Комсомолец бросил нехороший взгляд на Добрынина, потом, обернувшись к старику, сказал:

– Он же спит! Выгони собаку!

Добрынин слышал эти слова, и очень не понравились они ему, но сил открыть глаза и сказать комсомольцу: «Нет, я не сплю, я собаку слушаю!» не было, и вздохнул тяжело во сне народный контролер. И собака замолчала, и вообще тихо стало вдруг, тихо и тоскливо, и сразу исчез весенний сон, в котором только что пребывал Павел Александрович Добрынин, а вместо этого сна появился другой, холодный и неприятный, в котором народный контролер бежал по снежной пустыне, а за ним следом гнался на аэросанях с плохими намерениями местный житель по имени Ваплах.

* * *

После пробуждения, оказавшегося довольно тяжелым, Добрынин и Цыбульник позавтракали тонкими полосками сухого мяса, которое с трудом лезло в горло из-за своей солёности. Запили завтрак кислым молочным чаем, приготовленным Абунайкой неизвестно из чего.

– Пусть русский человек Цыбульник скажет русскому человеку Кривицкому, что Абунайка устал и работать не придет... Хорошо?

Комсомолец кивнул.

Выйдя из балагана, Добрынин обратил внимание на общее просветление заполярной ночи, ставшей теперь уже не синей, а светло-голубоватой. Он с интересом глянул на низкое небо – цветные радужные волокна северного сияния были едва видны.

– Утро, что ли? – спросил он Цыбульника.

Цыбульник тоже посмотрел все еще мутным взглядом по сторонам.

– Да вроде светает... – протянул он. – Эскимосня еще спит, а мы – на работу... – в голосе у комсомольца было столько тоски, что Добрынин сразу вспомнил о своей малой родине, о деревне Крошкино.

Неспеша подошли к городу, поднялись на порог председательского деревянного дома, зашли.

Кривицкий сидел за столом под своим меховым портретом и перечитывал какие-то бумаги.

Комсомолец кашлянул, громко переступил с ноги на ногу.

– А-а, – председатель Хулайбы наконец оторвал взгляд от бумаг. – С добрым утром! А я думал, что вы еще спите!

Такое предположение немного обидело Добрынина. Неужели Кривицкий думает, что народный контролер прилетел сюда только для того, чтобы молочную водку пить.

– Нет, товарищ Кривицкий, – сказал Добрынин твердо. – Мы встали, чтобы работать.

– Ну садитесь! – председатель едва заметно улыбнулся, показывая рукой на приставленные к его столу с другой стороны два стула для посетителей.

– Я лучше пойду аэросани проверю, заправиться надо, – проямлил полусонным голосом комсомолец и выскользнул из кабинета, оставив Добрынина наедине с Кривицким.

Народный контролер подошел, сел на предложенный стул, еще раз посмотрел на диковинный портрет и понял наконец разницу между портретом и оригиналом, разницу, которую он чувствовал, но как бы не видел: на портрете у Кривицкого было по-зверски мужское лицо, волевое и даже злобноватое, а в жизни, за столом, сидел человек с чисто бабьей физиономией, и единственное, что в нем было от мужчины, кроме одежды и тонких усиков, – это голос, который хотя и не хрипел, но был достаточно твердым с примесью внутренней стали.

– Работать? – повторил Кривицкий, не сводя глаз с народного контролера. – А что бы вы хотели делать?

Народный контролер полез за пазуху и, порывшись там, вытащил из пришивного кармана рубахи свернутый мандат, подтверждавший его всесоюзные полномочия. Вытащил и протянул хозяину кабинета.

Кривицкий пробежал бумагу взглядом.

– Ну это я о вас знаю, а что бы вы хотели здесь проверить? Ведь у нас ни фабрик, ни заводов нет.

Добрынин задумался. Фабрик и заводов в городе действительно не было, но зачем-то же его сюда отправили, а значит надо было что-то проверить, и то, что Кривицкий задавал ему такие вопросы, было подозрительно: неужели председатель города не знает, что в его городе можно проверить?!

– Может, лучше отдохнете немного, посмотрите на местные обычаи, мы вам охоту на аэросанях организуем – оленей постреляем, – предложил Кривицкий.

Такое предложение окончательно заставило народного контролера заподозрить Кривицкого в чем-то нехорошем.

– А может, я у вас жизнь проверю?! – предложил неожиданно Добрынин, сам обрадовавшийся такой внезапной идее.

На лице у Кривицкого возникло недовольное недоумение.

– Чью жизнь? – спросил он.

– Жизнь города, вообще...

Председатель Хулайбы задумался крепко и серьезно. И даже лицо его на время мысли стало не таким женским из-за того, что он нахмурился.

– Ну а как вы можете жизнь проверить? – спросил он после напряженной паузы.

– Ну расспросить всех: что они думают о жизни, что в ней хорошо, что плохо...

– Так ведь по-русски почти никто не говорит! – воскликнул хозяин кабинета.

– Вы говорите, Цыбульник говорит, Абунайка говорит, этот, как его... урку-немец говорит... Попрошу их рассказать мне, что остальные жители думают.

Кривицкий почесал затылок, посмотрел в глаза народному контролеру мрачно и почти откровенно враждебно, потом вздохнул.

– А-а, вспомнил! – вдруг проговорил он, резко сделав выражение лица радостным и оптимистичным. – Есть что проверить! Я просто забыл!

Добрынин тоже обрадовался, и взгляд его не скрывал этого чувства.

– Мы же хотим дворец культуры строить! – заговорил Кривицкий. – Из особых ледяных кирпичей. А лед для этого будем вырезать из реки. Река у нас рядом. Омолой называется. В общем, надо проверить толщину льда, чтобы знать, можно уже вырезать кирпичи или надо еще немного подождать... Так, может, вы и проверите толщину?

– Да, конечно, – ответил Добрынин с готовностью. – Только объясните, как и чем проверять.

– Тогда я попрошу нашего радиста проводить вас на место к реке, а там посередине стоит такая полосатая мерная палочка. Надо будет посмотреть, на какой отметке лед держится, и записать это, а потом мне доложить.

Задание было понятно Добрынину, и дополнительных вопросов не возникло.

– Ну тогда я прямо сейчас пойду? – полуспросил он Кривицкого.

– Хорошо, – ответил Кривицкий. – Только минуточку подождите! – и он подошел к стенке, на которой висел портрет читающего газету Ильича, и постучал в нее кулаком.

Через какое-то мгновение в кабинет вошел низенький коренастый мужчина в коричневой кожаной куртке и толстых ватных штанах.

– Вот, знакомьтесь – это наш радист Вася Полторанин! – сказал Кривицкий.

Добрынин и радист пожали руки, представившись друг другу.

– Покажешь ему, где река, он толщину льда проверять будет! – приказал Полторанину председатель.

Полторанин кивнул.

Попрощавшись с Кривицким и забросив котомку на плечо, пошел Добрынин за радистом на улицу. Руки в карманах кожаных мерзли, да и воздух, казалось, тоже стал холоднее, хотя кожа лица не щемила, как в первый день прилета.

Шли они молча. Радист Полторанин смотрел себе под ноги и только иногда поднимал голову, сверяя правильность пути.

– Холодает, кажется? – не выдержав неприятного молчания, заговорил первым народный контролер.

– Ага! – кивнул Полторанин. – Уже и не плюнешь нормально!

– Как нормально? – переспросил, не поняв, Добрынин.

– Ну как нормально? Если нормально плевать, то что: слюна вылетает изо рта и падает на предмет или на землю, а здесь, особенно в холода, – только захочешь плюнуть, приготовишься и – плю! – а изо рта уже что-то замерзшее вылетает. Вот.

Добрынина эта мысль заинтересовала. Сам он здесь еще ни разу не плюнул, потому что все время держал рот закрытым – открывать его на улице было очень холодно, и сразу же морозный воздух пробирался через рот и морозил тело изнутри. Но сейчас, услышав слова радиста, Добрынин решил попробовать. И только он собрал во рту побольше слюны, набрал в легкие холодного воздуха и открыл рот, как в мгновение будущий плевок замерз, превратившись в кусочек льда, и пришлось народному контролеру его просто вытолкнуть языком.

– Да-а-а, – сказал он, поняв, что на Севере и плюнуть нормально нельзя.

– Вот и речка! – радист показал рукою вперед.

– Где? – переспросил Добрынин, видя перед собою одинаково снежно-белую поверхность.

– Счас! – сказал радист и, когда они сделали еще с десятков шагов, остановился и повел сапогом по поверхности, снимая с нее снег.

Под снегом оказался лед, и был он довольно прозрачен – можно было смотреть сквозь него вниз, наверное, на целый метр.

– А палочка? – спросил Добрынин. – Для измерения?

Полторанин поискал взглядом упомянутую мерную палочку и, найдя, показал народному контролеру. До мерной палочки было еще шагов сорок.

– Мне назад надо! – сказал радист. – Работа срочная, надо быть готовым к связи с Якутском!

– Ну иди, – кивнул Добрынин. – Я сам дойду да и вернусь без труда, дорогу запомнил.

– Ну счастливо! – сказал Полторанин и потопал назад к городу Хулайбе.

А Добрынин не спеша пошел к видневшейся красно-белой мерной палочке. Думал на ходу о том, что наконец-то стал он для Родины полезным и начал исполнять свои настоящие обязанности.

И воображал он себе блестящий, как настоящее стекло, дворец культуры, который возвысится над остальными строениями города Хулайбы и привлечет своей ледяной красотой взоры больших и малых народов этого холодно-таинственного края, и смогут все эти народы, придя во дворец, разместиться в нем свободно и чувствовать себя уютно, в одной дружной семье, а в центре дворца будет стоять и обогревать всех огромная печка-буржуйка размером с дом председателя Хулайбы, и дрова для нее, обязательно березовые, будут привозить на специальном самолете из самой Москвы. И когда-нибудь он, Павел Александрович Добрынин, залетит на этом самолете специально на денек, чтобы зайти во дворец, поздороваться с народами и рассказать им, что когда дворца еще не было и ни один его кирпич не был вырезан из речного льда – он, народный контролер Советского Союза, самолично проверял толщину льда, с тем чтобы принять решение о начале великой северной стройки.

– Э-э-эй! – донесся вдруг до слуха Добрынина негромкий, но протяжный крик.

Добрынин остановился, посмотрел туда, откуда кричали, и увидел совсем рядом, шагах в двадцати от него, сидящего на снегу Ваплаха, одетого в совершенно белую и очень длинную оленью доху. Если бы не загорелое до коричневости, как у всех местных жителей, лицо, не различил бы Добрынин его на фоне снега.

– Ну чего тебе? – спросил он урку-емца.

Ваплах посмотрел в ту сторону, куда ушел радист, и, не увидев его, поднялся на ноги и приблизился к контролеру.

– Сначала привет твоему гладкому лицу и твоей мудрости, потом разговор... – произнес Ваплах.

– Привет! – ответил Добрынин. – Ну, какой разговор? Говори, только побыстрее – я на работе.

– Русский человек Добрынин пусть не идет к палке, – сказал очень тихо, почти шепотом урку-емец. – Беда будет! Я видел: русский радист ведет русского человека Добрынина к реке, и я пошел, потому что думал – не пойду – обязательно беда будет!

– Какая беда? – Добрынин озадаченно посмотрел на Ваплаха. – Что за беда?

– Зачем говорить? – ответил на это Ваплах. – Народ – урку-емец лучше покажет русскому человеку Добрынину...

И Ваплах, вцепившись в рукав добрынинского кожуха, повел народного контролера за собою, ступая впереди осторожно и выдерживая короткие паузы перед каждым новым шагом.

Нехорошее предчувствие заставило Добрынина полностью довериться урку-емцу, и он шел за ним, слушая, как негромко потрескивает под их ногами лед, и думая о том, что, должно быть, еще рановато вырезать кирпичи из замерзшей реки, ведь если лед потрескивает, значит он еще недостаточно глубокий и толщина его невелика.

– Вот! – остановившись, выдохнул урку-емец. – Теперь я покажу русскому человеку Добрынину...

И, наклонившись, Ваплах провел рукой по льду, очищая его от легкой наснежи. Перед глазами урку-емца и Добрынина открылась полоска прозрачного льда, и там, внизу, на непонятной из-за оптического обмана глубине что-то засинело.

– Ваплах сейчас покажет... – урку-емец пополз на четвереньках дальше, сгребая со льда снежок.

Добрынин присел на корточки и внимательно смотрел вниз: прямо под ним во льду в странной летящей позе полулежал какой-то человек в синих брюках и темной кожаной куртке, а рядом, отдельно от человека и, казалось, ближе к поверхности льда также «завис» желтый канцелярский портфель.

– Кто это? – вырвалось у Добрынина, и он вдруг почувствовал, как по его коже прокатилась волна ужаса. Внезапно он понял, что человек, вмерзший в лед, конечно же, мертвый, и смерть его была ужасна и неожиданна, раз шел он куда-то с портфелем.

– Ваплах видел этого русского человека в Хулайбе. Он к русскому человеку Кривицкому приходил, а потом его послали толщину льда мерять... Ваплах еще покажет!

И, отползая чуть в сторону, урку-емец расчистил еще один кусочек ледяной поверхности, и подошедший туда Добрынин увидел еще одного вмерзшего в лед человека. Этот человек лежал лицом вверх, и был он почему-то без шапки, хотя и в таком же оленьем кожухе. Растрепанные рыжие волосы стояли на его голове невообразимым веером, а лицо его, покрытое веснушками, видимыми даже через лед, застыло с каким-то просящим выражением.

– И этого Ваплах в Хулайбе видел, – проговорил урку-емец.

У Добрынина сперло дыхание, а на глазах непроизвольно выступили слезы, и сразу же глаза заболели, защемили, по-видимому из-за того, что выступившие слезы сразу замерзли и теперь царапались.

– Русский человек Кривицкий их сюда умереть послал... – произнес грустным голосом Ваплах. – Они с русским человеком Кривицким ругались чуть-чуть.

Страшная догадка поразила Добрынина, пока смотрел он на двух вмерзших в лед мужчин: неужели и его ждала такая же смерть? Неужели коммунист Кривицкий почему-то захотел его убить?

– Русскому человеку Добрынину нельзя в Хулайбу возвращаться... – проговорил Ваплах и уважительно заглянул в глаза народному контролеру.

– А куда же мне? – растерянно, по-настоящему испугавшись за свою жизнь, спросил Добрынин.

– У Ваплаха совсем недалеко хороший чум есть с печкой... тепло будет, еда будет...



Отведя взгляд от вмерзших в лед людей, Добрынин попытался взять себя в руки и все серьезно обдумать, но никакие мысли почему-то в голову не приходили. А страх, забравшийся в душу, не отпускал народного контролера. Так и сидел он, упершись горестным взглядом в ничего не значащий снег, лишь бы не видеть всего ужаса открывавшейся под ним во льду картины.

– Пусть русский человек Добрынин со мной пойдет, – позвал урку-емец, подойдя и остановившись над народным контролером.

– Нет, – проговорил Добрынин и, сжав кулаки, стал наполняться внутренней злобой, которая как бы вытесняла, прогоняла куда-то прочь ощущение страха и безысходности. – Надо разобраться... – медленно, но уже другим, более решительным голосом произнес Павел. – Надо это проверить, почему они погибли... и из-за чего.

Ставив с плеча котомку, Добрынин вынул из нее топор и с размаху всадил им прямо по льду над головой человека с желтым портфелем.

– Надо ж похоронить их по-человечески, – приговаривал Добрынин, кроша лед тяжелым инструментом. – Чтобы в гроб или в ящик, хотя бы на склад их отвезти, как людей...

Лед брызгал осколками под ударами топора, но сопротивление его было велико, и Добрынин, остановившись, чтобы перевести дух, и уже ощущая усталость в руках, увидел, что прорубил он дырку на глубину коробка спичек. Понятно стало, что не вызволить ему из ледяного плена погибших. Снова пришло в душу смятение и уже не страх, а по-детски невнятная обида. Перевел он свой взгляд на желтый портфель и подумал, что надо хотя бы его изо льда вырубить – может, там бумаги, документы какие-нибудь.

Принялся теперь Добрынин врубаться топором в ледяную твердь над портфелем.

Ваплах отошел на пару шагов и наблюдал оттуда за Добрыниным, который с новой силой крошил лед тяжелым и острым инструментом, на ходу говоря что-то злое и непонятное урку-емецу, но очень похожее по интонациям на заклинание злого духа Каппы.

– Эй, Ваплах, помоги! – остановившись через некоторое время, позвал Павел.

Урку-емец подошел и увидел, что прорубил народный контролер весь лед, лежавший на портфеле, и даже подрубил чуть-чуть с краю, так, что теперь только нижний лед удерживал портфель. Но сам Добрынин, наверняка уже и подуставший порядком, вырвать портфель из лунки не мог.

Взялись они вместе за портфель и потащили его четырьмя руками на себя.

– Ну, еще ра-а-аз! – командовал Добрынин. – И еще ра-а-аз!! После нескольких попыток портфель все-таки поддался, и с треском оторвали его Добрынин с Ваплахом от нижнего льда.

Народный контролер сразу открыл его, сунул туда руку, но тут же вытащил и сказал:

– Все смерзлось...

– На печке разогреть надо, тогда растает, – подсказал урку-емец.

– Ну пошли! – Добрынин поднялся на ноги, зажал портфель под мышкой, а руки спрятал в карманах – ладони его уже были сине-фиолетовыми от холода.

Повел его урку-емец к ближним холмам, но не туда, где находился город Хулайба. Шли они недолго, хотя и не спешили.

– Там такие места есть, – говорил урку-емец. – Рядом лед толстый-толстый, а чуть поближе к берегу – тонкий, как оленья кожа... А палку ту поставил русский человек Шендерович, чтобы не ходили к ней – там самый тонкий лед!

– А что это за Шендерович? – спросил Добрынин, уже чуть успокоившись и желая отвлечься от мрачных мыслей, бродивших в его голове после только недавно пережитого страха.

– А был такой человек перед русским человеком Кривицким, – рассказывал на ходу урку-емец. – Хороший был человек, партвзносов не собирал, меня от болезни вылечил... его все уважали.

– А где он сейчас? – поинтересовался народный контролер.

– Сейчас его нет. – Ваплах вздохнул. – Его медведь убил.

Чум Ваплаха стоял в низинке между двумя холмиками. Был он маленьким, раза в два меньше балагана, но зато как только вошли они внутрь, так сразу Добрынин и почувствовал тепло этого темноватого беззаконного жилища, в котором на самой середине красовалась буржуйка, сделанная, как и остальные, из бензиновой бочки. Сквозь прорезанную в ней сбоку дырку на «меховой» олений пол падал красноватый отсвет.

– А-а. – Ваплах наклонился к печке. – Хорошо не потухла... надо еще дерна бросить... – и он приподнял край оленьей шкуры на полу и вытащил оттуда несколько бурых комьев. Забросил их в печку и только тогда обернулся к Добрынину и предложил ему усестись на такую же, как и у Абунайки, лежанку.

– Русский гость кушать будет? – спросил урку-емец.

Народный контролер кивнул. И тогда Ваплах поставил сверху на печку небольшой котел с едой.

– Надо бы портфель оттаять... – проинес задумчиво Добрынин и посмотрел на урку-емца очень дружелюбно и уважительно.

Ваплах взял из рук контролера желтый портфель и поставил его возле буржуйки.

– Скоро-скоро оттаяет, – проговорил он. Потом присел рядом с Добрыниным и спросил: – А русский человек Добрынин сюда зачем приехал?

– Проверять приехал, – кратко ответил народный контролер, опять задумавшись о страшной судьбе застывших во льду людей.

– А что русский человек Добрынин проверять будет?

– Да я все имею право проверять, и работу, и жизнь, и порядок...

– А-а-а... – протянул Ваплах. – А один из мертвых тоже проверять приезжал. Я чуть-чуть разговор слышал. Из-за японцев они поругались...

– Из-за каких японцев? – Добрынин насторожился.

– А которые за партвзносами приезжают, – ответил урку-емец. – Тот русский человек хотел их увидеть, а русский человек Кривицкий говорил, что никаких японцев здесь нет.

– А что, есть они тут или нет? – спросил очень серьезно Добрынин.

– Тут их нет, но за партвзносами приезжают. Сам видел. К амбарчику на такой снежной машине подъедут, перегрузят в машину все шкурки, потом какой-то ящикек русскому человеку Кривицкому передадут, поклонятся и уедут до следующего раза.

«Вот оно что!» – подумал Добрынин и внутренне помрачнел еще больше. Никак не мог он ожидать, приехав сюда, что столкнется тут, на далеком Севере, с такими беспорядками, которые и беспорядками трудно назвать, потому что на самом деле все выглядело намного серьезнее. Все это было страшным преступлением, а преступником оказался главный коммунист города Хулайбы. И эта мысль испугала Добрынина, но все же справедливая злость оказалась сильнее испуга, и, поразмыслив еще, понял народный контролер, что коммунист не может быть преступником, а значит нельзя считать Кривицкого членом партии Ленина, нельзя было даже думать, что Кривицкий и товарищ Калинин состоят в одной партии.

И стало понятно Добрынину, что Кривицкий и есть тот враг, о каких часто писали в газетах и которые, скрываясь под личиной партийцев, творят свои темные дела. Все стало понятно Добрынину о Кривицком, но возникло сразу много вопросов: а кто знал о происходящем, почему комсомолец Цыбульник ничего не сказал народному контролеру, почему радист Вася Полторанин, который довел Добрынина до реки, не предупредил о смертельной опасности? Неужели не знал?

И очень тяжело вздохнул народный контролер. Неужели жизнь на самом деле такая жестокая?

– Еда готова, – сказал Ваплах, трогая пальцем стенку котла, стоявшего на буржуйке.

Добрынин глянул на урку-емца. Есть ему расхотелось, но и обижать своего спасителя Павел никак не желал.

– Я потом, – проговорил он и снова задумался.

– Русский человек Кривицкий – нехороший человек, – закивал головою Ваплах, словно прочитал мысли народного контролера и решил вслух согласиться с ними.

– Знаешь, Ваплах, – сказал Добрынин. – Не называй его, пожалуйста, русским человеком. Какой он русский?! У него же лицо бабье.

– Хорошо, – сказал урку-емец. – А как его называть?

– Называй его просто Кривицким, хотя он, конечно, сволочь. И надо его строго наказать за все, что он сделал.

Мысль о наказании понравилась Добрынину, и он продолжал обдумывать ее, но уважение к порядку остановило его, потому что понял он – наказывать кого-то может только суд или

человек, у которого есть на это специальное разрешение, а у самого Добрынина было только разрешение проверять и контролировать, а значит ничего, кроме записанного в мандате, он делать не мог. И от этой мысли народный контролер загрустил.

– Может, русский человек Добрынин тарасуна выпьет? – предложил Ваплах, видя мрачное лицо Павла.

– Слушай, – заговорил Добрынин. – Не называй меня русским человеком!

– А что, Добрынин не русский человек?

– Да русский я, русский, но зови меня Павлом. Ты – Ваплах, я – Павел. Понятно?

– Да, – урку-емец кивнул. – А Павел тарасуна хочет?

– Нет, – отрезал Добрынин. – Надо что-то делать, а не водку пить! Преступника наказать надо, а здесь ведь ни суда, ничего такого нет. А сам я, понимаешь, Ваплах, не имею права его наказывать...

– Абунайка умный человек, надо с ним говорить! – предложил урку-емец.

– Твой Абунайка – заместитель Кривицкого!

– Это ничего! – улыбнулся Ваплах. – Зато он умный! Я пойду, позову его, а Павел пусть еду покушает!

Урку-емец ушел, и остался Добрынин один в маленьком и уютном чуме. Шипел в буржуйке сухой дерн; тепло стало Павлу, и он даже расстегнул олений кожух, который давно уже не снимал с себя из-за суровости климата. Расстегнул кожух, наклонился к желтому портфелю, открыл его. Листы бумаги внутри были мокрыми, но почувствовал народный контролер, что теперь уже можно было их отделять друг от друга, и вытащил он всю пачку, присел на полу у печки и положил эту мокрую пачку себе на колени. Аккуратно отделил верхний листок и, придвинувшись к топке буржуйки, попробовал прочитать написанное на бумаге в красноватом отсвете тлеющего дерна. Однако как ни напрягал он глаза, а разобрать ничего не мог по причине того, что размокшие чернила расплылись по бумаге, и только отдельные кусочки слов были различимы, но сами по себе эти кусочки никакого смысла не имели. На всякий случай опустил Добрынин первый листок бумаги на пол у печки, полагая, что если высохнет он, то, может быть, разборчивее станет, а сам взял следующий лист, поднес его к тускловатому печному свету.

«Со слов местного жителя Барулая, – прочитал Добрынин хорошо сохранившийся текст, написанный химическим карандашом, – стало мне известно о зверском убийстве члена РСДРП Шендеровича, присланного для организации Советской власти в якутском городе Хулайба. Убийство было организовано присланным товарищу Шендеровичу в помощь товарищем Кривицким, вступившим в преступный сговор с японскими империалистами. Также есть основания считать тов. Кривицкого виновным в таинственном исчезновении целого северного народа урку-емцев, которые отличались высокой образованностью и все до единого хорошо говорили по-русски. Этот народ бесследно исчез после убийства товарища Шендеровича. Перед исчезновением, по словам местных жителей других национальностей, народ урку-емцев насчитывал до ста двадцати человек, включая женщин и детей. Считаю необходимым прислать сюда специальную комиссию для более полного расследования совершенных тов. Кривицким и его подручными преступлений. Подпись: Егоров Егор Федорович, народный контролер Советского Союза».

«Вот ты кто! – подумал с горечью Добрынин, дочитав бумагу. – Так, значит, здесь поступают с народными контролерами...»

И захотелось Добрынину плакать, плакать не жалостно по-бабьи, а так, как плачут настоящие большевики на похоронах братьев, – плакать без слез и беззвучно, плакать внутренне, ощущая страдание каждой кровинкой своею. И выпить захотелось, но от этого желания Добрынин удержал себя. И снова подумал о том, что надо Кривицкого судить и судить его прилюдно. И опять возник вопрос: как? Каким судом?

И от кажущейся беспомощности своей закусил Павел губу и почувствовал на языке вкус собственной крови.

Шипел дерн, пропитываясь неспешным игривым огнем.

Кто-то подходил к чуму – были слышны поскрипывания верхового снега.

С ожиданием Добрынин смотрел на низенький вход в жилище, завешенный двойной или тройной оленьей шкурой.

Зашли двое – Ваплах и заместитель Кривицкого Абунайка. Старик вежливо поклонился народному контролеру.

– Привет твоему гладкому лицу и твоей мудрости! – сказал он, опускаясь рядом на мягкий ворсистый пол. – Мне урку-емецкий человек Ваплах рассказал много... а русский человек Кривицкий совсем недавно говорил: далекий гость в реке утонул. Я думал – беда, а Ваплах приходит и меня сюда зовет...

– Да... – сказал Добрынин, желая остановить не совсем связную речь старика. – Ваплах сказал, что вы – умный человек. Вы знаете, кто такой Кривицкий?!

– Абунайка умный, – старик кивнул. – Абунайка знает плохого русского человека Кривицкого, Абунайка про японцев знает, Абунайка много знает...

– А почему же товарищ Абунайка знал про эти беззакония и ничего не делал? – строго спросил народный контролер.

– А что мог Абунайка делать? Абунайка не сильный, старый и нерусский. Надо, чтобы русский приехал и наказал русского, а Абунайка не может сказать, что русский человек – плохой, Абунайке никто не поверит...

– Ну ладно, – Добрынин махнул рукою, утомившись от многословия старика. – Скажите, товарищ Абунайка, у вас здесь свой суд есть?

– Суд? – переспросил старик.

– Ну да, если кто-нибудь что-то украдет или убьет кого-то, вы его наказываете?

– Да-а... – ответил старик.

– Значит, это у вас организовано, и вы знаете, как наказывать? – уточнил Павел.

– Конечно, Абунайка знает! – подтвердил старик.

– Тогда вы можете и Кривицкого своим судом наказать? – спросил Добрынин, глядя старику прямо в глаза.

Абунайка задумался, поднес сухую желтоватую руку ко рту, дотронулся до острых коротких усов.

– Наверно, можем, – наконец произнес он.

– Ну тогда берите его и судите! – твердо сказал, как приказал, Добрынин.

– Абунайка к народу пойдет, суд готовить будет, а на суд русского человека Добрынина позовут! – старик поднялся, поклонился контролеру и ушел.

– Русский человек еду не кушал? – спросил Ваплах. – Надо кушать, а то холодно будет...

– Ладно, давай! – устало проговорил Павел.

Урку-емец снял с печки котел, разлил из него какую-то похлебку по двум глиняным мискам и одну протянул народному контролеру. Подал ему и белую костяную ложку.

«Эх, хлеба бы сейчас!» – с горечью подумал Добрынин.

Похлебка была излишне соленой, но вполне съедобной. Съел ее Павел быстро и вспомнил первый рассказ о Ленине и о невкусном национальном супе. «Наверно, это не здесь было», – подумал Добрынин.

Урку-емец ел медленно и при этом громко чмокал губами. Доев, он опустил пустую миску на пол под печку и снова предложил выпить тарасуна. На этот раз Добрынин не отказался. Во рту сразу стало приятней, но на душе по-прежнему тяжелым камнем лежали впечатления этого дня, и ни о чем другом Павел думать не мог.

– Абунайка все сделает, – снова угадав мысли Павла, проговорил Ваплах. – Он с народом поговорит, народ его слушается.

Дальше сидели они молча. Пили тарасун, думали каждый о своем.

Времени прошло немного – может, два часа, может, три. И послышался снова скрип верхового снега. В чум зашел Абунайка. Зашел деловитой быстрой походкой. И на круглом загорелом лице его было такое серьезное выражение, что Добрынину сразу захотелось встать на ноги. Все-таки серьезные люди всегда вызывают уважение.

– Суд готов, – сказал старик. – Собаки ждут. Надо ехать.

Вышли, сели в сани. Старик закричал на собак и хлестнул их недлинной нагайкой. Уже на ходу Павел застегивал свой кожаный, хотя после выпитого тарасуна было ему тепло.

– Где суд-то будет? В Хулайбе? – спросил он старика, сидевшего впереди.

– Зачем в Хулайбе? – старик пожал плечами. – На хорошем месте суд будет, там всегда судим.

Собаки бежали проворно. Снег почти пел под полозьями саней, и это нравилось Добрынину и успокаивало его. Рядом сидел урку-емец. Сидел он с закрытыми глазами и тоже негромко пел, словно подпевал снегу. Пел он что-то на своем урку-емецком языке. Песня была заунывная и грустная, и решил Павел, что в песне этой поется о трагической судьбе урку-емецкого народа. И захотелось Павлу поподробнее расспросить Ваплаха, что же все-таки с его народом произошло, но не решился он прерывать песню.

А собачки бежали быстро, и залюбовался их бегом Добрынин. Красивые и пушистые были собачки, и только одного не хватало Павлу – хотелось ему, чтобы собачки эти на бегу лаяли, но они бежали молча, и понял Добрынин их молчание, ведь и сам он, постоянно будучи под северным небом, держал рот закрытым, чтобы не запустить к себе вовнутрь этот колючий морозный воздух. Вот и собаки, наверно, именно поэтому не лаяли.

Вокруг поднимались и опускались покрытые снегом холмы, все было однообразно и сурово.

Поднявшись на вершину очередного холмика, Абунайка приостановил окриком собачек и посмотрел с высоты по сторонам, потом снова прикрикнул, и понесли собачки сани вниз по пологому спуску.

Добрынин присмотрелся вперед и увидел коричневатую площадку, очищенную от снега, и еще несколько собачьих упряжек и одну оленью. На площадке стояли люди, что-то делали, но что именно они делали, с этого расстояния видно не было.

Совсем скоро Абунайка остановил собачек на самом краю площадки, и собачки обрадовались, увидев своих сородичей, завиляли друг другу обрубками пушистых хвостов.

Павел подошел к местным жителям и тут понял, что он уже был в этом месте – возил его сюда на аэросанях комсомолец Цыбульник по дороге на Хулайбу. И точно так стоял один деревянный столб с укрепленным на его вершине бюстом Ильича, на плече которого что-то было вырезано. Да, это было то самое место, «ленинский уголок», как называл его комсомолец.

Местные жители, как оказалось, привезли с собою дрова и в этот момент были заняты укладыванием их в особый квадратный костер, который, правда, еще не горел.

– А где Кривицкий? – спросил у Абунайки Павел.

– Уже-уже едет, – ответил старик.

Ваплах подошел к деревянному столбу и сказал что-то на своем языке, глядя снизу вверх в лицо вождю.

– Э-э-эй! – донеслось откуда-то, и Павел, обернувшись, увидел, как к ним приближается еще несколько собачьих упряжек. Подъехав к площадке, они остановились. На одной из них лежал Кривицкий. Лежал он на животе.

Павел подошел, посмотрел на председателя Хулайбы. Тот был обвязан с ног до головы тонкими ремешками из оленьей кожи. Он что-то мычал, но понять его было трудно.

Ваплах уже разговаривал с только что приехавшими людьми. Потом он обернулся к Добрынину.

– Они говорят, что русский человек Цыбульник на снежной машине удрал, а русского человека Полторанина связали и в городе оставили. Он хороший человек, он ни разу «бурайсы» не говорил.

– Бурайсы?! – повторил Добрынин и задумался – ведь это был пароль для базара, сообщенный ему комсомольцем. – А что это слово значит?

– Убью, – ответил Ваплах.

Павел сделал шаг назад и с опаской посмотрел на урку-емца.

– Ты чего? – спросил он.

– Нет, «бурайсы» на местном языке означает «убью», – объяснил Ваплах. – Это слово такое, человек Кривицкий это слово очень любил.

– Ну и пароль! – Добрынин покачал головой и посмотрел на лежащего Кривицкого с большою справедливою злостью.

Старик Абунайка, хлопотавший вместе с другими около идола, вдруг подошел к Добрынину.

– Начинать можно, – сказал он. – Суд готов.

– Ну так начинайте! – разрешил Павел.

Несколько местных мужчин, а были они все как на подбор низкие, коренастые и, судя по всему, довольно сильные, подошли к саням, подняли Кривицкого и отнесли под столб, опустив его там на подготовленный квадратный костер.

Только теперь Добрынин понял, какое наказание приготовил для Кривицкого Абунайка, и он подошел к старику.

– Вы что, сжигать его будете? – спросил.

– Ага, – старик кивнул. – Очень много зла русский человек Кривицкий сделал, семь человек убил, один народ совсем из-за него пропал... надо сжигать...

Конечно, думал Добрынин, такого преступника надо убить. Но что-то в Павле протестовало против такого вида казни, и он, снова отыскав возле костра старика, подошел к нему и спросил:

– А может, у вас есть другое наказание, ну такое, чтобы тоже смертная казнь, но только без огня?

– Есть, конечно, – кивнул Абунайка. – Летняя, сейчас никак нельзя. Земля твердая, ледяная совсем.

– А что это за летняя? – больше из любопытства, чем из надобности поинтересовался народный контролер.

– Ну если кто-то убил человека или священного медведя, то его вместе с убитым надо в одной яме живым закопать.

– Да, – Добрынин посмотрел на коричневую твердую землю под ногами. – Это не подходит. Ну ладно, начинайте.

Абунайка крикнул что-то своим людям, они отошли от кострища, на котором лежал связанный Кривицкий. Потом один совсем молодой парень поднес к лицу председателя Хулайбы кружку с молочной водкой, влил ее в рот ему, а потом полил тарасуном волосы Кривицкого.

– Подождите! – сказал вдруг Павел, и тут же Абунайка посмотрел выжидательно на Павла и что-то проговорил тому парню.

Парень отошел.

– Я хочу его кое о чем спросить! – объяснил Добрынин и сам приблизился к лежащему на спине Кривицкому.

– Ты за что народного контролера Егорова убил? – наклонившись к лицу Кривицкого, спросил Добрынин. – И кто второй?

Кривицкий посмотрел на народного контролера с такой злобой, что Павел отшатнулся. Стало ему ясно, что Кривицкий – отпетый враг, ненавидящий не только самого Добрынина, но и всю Советскую страну, и вроде не было больше нужды с ним разговаривать, но все-таки попробовал Павел задать врагу еще один вопрос. Спросил он о судьбе урку-емецкого народа, но и на этот вопрос Кривицкий лишь злобно промывчал и даже отвернулся демонстративно.

Добрынин тяжело вздохнул и отошел в сторону. Потом нашел взглядом Абунайку, кивнул ему, мол, начинайте.

Абунайка самолично поджег костер. Дров в этом костре было много, ведь в высоту он был метра полтора. Кривицкий попытался перевернуться или вообще скатиться на землю, но это у него не вышло – слишком крепко он был обвязан ремешками.

Старик запел что-то, обращаясь взглядом к бюсту вождя и кланяясь ему. Вскоре остальные стали подпевать Абунайке.

Пламя разгорелось. Затрещали дрова, затрещали громко и мелодично, и понравился Добрынину треск, напомнивший о печке в его избе, но тут Кривицкий испортил этот звук, закричав что-то матерное.

Но на кричавшего внимания не обратили, и даже песню свою местные жители не прервали из-за этого крика.

Добрынину этот суд не очень нравился, но понимал он, что все происходит по местным национальным законам, которые надо уважать, как учил Ленин, и поэтому решил Павел просто уехать сейчас отсюда. И подошел к урку-емцу, который с готовностью согласился отвезти Добрынина в Хулайбу.

Добирались они на упряжке до города недолго. Первым делом подъехали к большому деревянному дому, где располагался кабинет председателя. Добрынин зашел, постоял у стола, посмотрел на меховой портрет, потом заглянул в другую комнату и обнаружил там связанного радиста, сидевшего на стуле перед радиостанцией.

– Ну? – спросил его Добрынин.

– А я при чем? – совсем тихо и хрипло почти проплакал, а не сказал Полторанин. – Я – радист. Я что – знаю, кто должен эти шкурки забирать: японцы или китайцы.

– А об убийствах знал? – строгим голосом спросил Павел.

– О каких убийствах? – заныл радист. – Меня недавно прислали, позапрошлой ночью...

«А может, он действительно ничего не знал?» – подумал Павел и еще разок внимательно присмотрелся к лицу радиста.

Парень он был простой, и то, что он был так сильно напуган, показалось народному контролеру доказательством его невиновности.

– Ну ладно, – Добрынин подошел и принялся распутывать длинные кожаные ремешки, которыми Полторанин был обвязан. – Кривицкого уже наказали.

– Как наказали? – спросил радист.

– Совсем наказали, – ответил ему Павел. – А мне теперь надо в Москву добираться, доложить обо всем товарищу Калинин... только как туда добраться?

– Вам к военным надо, у них самолет есть, – потирая затекшие руки, подсказал Полторанин.

Про военных Добрынин как-то забыл, а ведь действительно – если у того аэродрома есть военный склад, значит и военные где-то недалеко должны быть!

– А как туда добраться? – спросил Павел.

– На упряжке, – проговорил Полторанин. – Можно, конечно, радировать, чтобы они свой транспорт прислали.

– Не надо, чего их беспокоить! – отмахнулся контролер. – Вот что, останешься здесь за Кривицкого, а я попрошу в Кремле выбрать кого-нибудь для Хулайбы, чтобы честный человек был. Понятно?

– Да, так точно... – ответил радист.

– Пошли, поможешь мне портрет Кривицкого со стенки снять!

Вдвоем они зашли в кабинет, придвинули стол к самой стене, и Полторанин снял с гвоздика «меховой» портрет.

– А зачем он вам? – спросил радист.

– Хочу товарищу Калинину показать, как доказательство преступления.

Ваплах так и сидел на санях у самого дома, когда Добрынин вышел на порог с портретом в руках.

– Ты дорогу к военным знаешь? – спросил Павел. Урку-емец кивнул.

– Тогда поехали, только заскочим сначала к тебе за моей котомкой и портфелем.

– Вдвоем нельзя ехать, надо Абунайку с собою взять. Добрынин не стал расспрашивать, почему вдвоем ехать нельзя.

Урку-емцу он верил, и значит были на то серьезные причины, раз Ваплах так говорил.

Поехали они к Ваплаху, подбросили в буржуйку еще дерна, погрелись, выпили тарасуна по кружке.

– Ну, теперь можно к Абунайке, уже наверно дома, – сказал через некоторое время Ваплах.

Абунайка действительно был дома.

– Утро наступает! – сказал он пришедшим первым делом и устало улыбнулся.

Павел повел носом – от старика пахло чем-то нехорошим и горелым, а к этому еще примешивался и запах оленьей мочи, из которой Абунайка делал, по словам сбежавшего комсомольца, какие-то лекарства.

– Надо к военным ехать! – сказал старику урку-емец. – Русский человек Добрынин спешит очень.

Старику, видимо, не хотелось отправляться в дорогу, но он все-таки кивнул.

– На моей упряжке поедem, – проговорил Ваплах, заметив, что старик наклонился за лежавшей на полу недлинной нагайкой-погонялочкой.

– Ну хорошо, – согласился Абунайка.

Вышли они из балагана. И только в этот момент Добрынин обратил свое внимание на удивительную светлость окружающего мира. Значит, и ночь, и рассвет окончились, и теперь вокруг царствовал белый и радостный день. Первый раз за последнее время Павел улыбнулся. Кривицкого больше не было, а значит, какую-то часть порядка и справедливости Добрынин навел, но понимал он, что до окончательного порядка еще далеко, да и не под силу его крестьянскому уму наводить серьезный порядок во всех его тонкостях, должны для этого прибыть сюда люди образованные и, наверное, из больших городов или из Москвы.

Уселись на сани. Урку-емец устроился впереди и хлестнул своей погонялочкой пушистых собачек. Натянули они ремешки, сдвинули сани с места и легко побежали вперед по дороге, не видимой глазу и известной только жителям этих мест.

Ваплах, доверив дорогу собачкам, обернулся и посмотрел на Абунайку серьезно и, как показалось Добрынину, взволнованно. Старик хоть и находился в полудреме, но этот взгляд заметил.

– Что сказать хочешь? – обратился он к урку-емцу.

А по сторонам проносились холмы и снега, и пели полозья свою негромкую, чуть свистящую песню.

– Нехорошо получилось, – сказал Ваплах. – Эква-Пырьс не будет доволен.

– Почему не будет?! – удивленно спросил старик.

– Плохого человека в жертву принесли. Эква-Пырьс подумает, что не любят его больше... – сказал Ваплах.

Добрынин не мог уразуметь, о чем разговаривают его попутчики, и от этого смотрел по сторонам и вперед, и, к своей радости, увидел он впереди приближающиеся деревья, росшие не густо и в основном между холмами. А сами холмы, особенно вершины их, были голыми.

– Не-е-ет, – не согласился с Ваплахом старик. – Будет он доволен.

– О чем вы? – спросил Павел.

– В жертву положено самых лучших приносить, а мы самого плохого сегодня сожгли. Бог доволен не будет.

– А-а, – понял, в чем дело, Добрынин. – А я думаю, что правильно сделали. Хорошие должны жить и строить будущую жизнь, а сжигать надо плохих.

После слов Добрынина наступило недолгое молчание, во время которого, должно быть, и Абунайка, и урку-емец обдумывали сказанное народным контролером. А потом Ваплах кивнул сам себе и произнес:

– Русский человек – умный, русский человек знает, кого надо сжигать, а кого нет.

– Да, – добавил Абунайка. – Мудрые люди всегда издалека приходят, глупые – рядом живут.

Летели их сани быстро. С любовью смотрел Добрынин на проносящиеся мимо деревья, невысокие и тонкоствольные, но все-таки чуть-чуть напоминающие о его родных местах. Думал он о будущем, когда приедет он в Крошкино с орденом, сядет за стол и будет рассказывать Маняше и детям своим об этих страшных днях или неделях, проведенных в совершенно не обустроенном для жизни человеческой холодном краю, где ни похоронить нельзя по-людски, ни наказать так, чтобы по-человечески, а все творится по местным национальным законам, таким не похожим на законы русские, согласно которым и в Москве, и в деревне Крошкино живут.

– Эй! – обернулся опять Ваплах. – Там что-то стоит!

И старик, и Павел взгляделись вперед, но, видимо, зрение у них не было острое, как у урку-емца. Только минут десять спустя увидели они аэросани, лежащие на боку. Подъехали, на собачек прикрикнули, чтобы те остановились.

В аэросанях никого не было.

– По кругу ходить надо! – сказал Добрынин, и попутчики его послушно подошли к машине и стали вокруг нее шаги накручивать.

– Нет, тут снег малый, – замотал головой Ваплах. – Надо просто посмотреть, под этим снегом ничего нет.

Разошлись они в разные от машины стороны. Абунайка полез на холм, Ваплах наоборот – начал спускаться в низинку, где росли не росли, но все-таки стояли несколько низеньких деревьев.

Добрынин ходил вокруг машины, внимательно присматриваясь к снежной поверхности.

– Эй! – позвал с вершины Абунайка. – Я нашел его!

Спешно поднявшись к старику на вершину холма, Павел и Ваплах увидели лежащий на снегу скелет мужчины – кости были гладко обглоданы, и только орган лежал нетронутый и от мороза полиловевший. Рядом валялись обрывки меховой куртки.

– Ай-яй-яй... – проговорил Абунайка. – Ояси был здесь.

– Звери, что ли? – переспросил Павел.

– Злой дух Ояси-камуй! – объяснил Ваплах. – Это только он так людей и животных съедает.

У Павла закололо в животе. Он схватился рукою за болящее место и скривил рот.

– Уходить надо! – заторопился Абунайка. – Опять прийти может! Он очень злой!

Почти бегом спустились они с холма и снова помчались на санях в сторону далекого военного городка.

Постепенно боль у Павла прошла, и он прилег, положив голову на котомку. Ваплах, погоня собачек, пел свою песню, а Абунайка дремал сидя, иногда шевеля бескровными бело-желтыми губами.

Долго они неслись по северным снегам.

– Этот Ояси – очень злой дух, – рассказывал лежащему Добрынину урку-емец. – Он невысокий совсем, мне по плечо, голова плоская и желто-зеленая, а глаза круглые и зрачки красные. Кожа у него вся в пупырышках, и ходит он совсем неслышно. К моему чуму приходил раз, одну собаку съел. Хорошая собачка была... А другие собаки молчали, боятся его, наверно...

Этот ужасный рассказ, как ни странно, убаюкивал народного контролера, и казалось ему, уже входящему в теплоту и уют сна, что кто-то сидит рядом с его кроватью и сказку рассказывает. Слушал сквозь наступающий сон Павел голос Ваплаха, и дрожь пробирала его до тех пор, пока не утонул голос урку-емца в других звуках окрепшего сна и не появился во сне у Добрынина добрый дедушка, бродящий по Москве и собирающий у всех, кто по дороге встречается, конфеты для детишек. А люди, прохожие и даже военные, останавливались охотно, увидев дедушку, и сыпали в его мешок множество всякой всячины, которую доставали из разных карманов своей одежды. И обрадовался за дедушку Добрынин, и пошел он дальше по улицам и переулкам своего сна, вслед за дедушкой, чтобы в случае необходимости помочь этому дедушке в чем-то или хотя бы мешок его куда-нибудь отнести, если самому дедушке не под силу будет поднять такую тяжесть. Было хорошо ходить по этим широким городским улицам, и только иногда отвлекал Добрынина голос урку-емца, кричавшего что-то своим собакам на непонятном урку-емецком языке.

Глава 20

Холм, выбранный под место разбивки Новых Палестин, отличался правильностью округлой формы и большими размерами. Внизу под ним чернели еще не совсем сгнившие и поистлевшие деревянные постройки чего-то предыдущего. За постройками горбятилось могилами широкое кладбище, и было в нем что-то необычное, не росли на нем деревья, и заборчика не было, и переходило оно как бы в поле, которое, может быть, и было раньше полем, когда жили здесь пахари и сеятели. А по другую сторону холма текла-извивалась игривая речушка шириною в пятнадцать – двадцать шагов, и разрезала она собою уже другое поле, неровное и взбугренное, за которым начинался густой закоренелый лес.

Пришли сюда люди, ведомые Архипкой-Степаном, и остановились здесь, решив, что это то место, к которому они стремились. И действительно – вышли они к холму на рассвете и из последних сил. А тут прямо с вершины холма поднялось на небо солнце, огромное и желтое, как хорошее масло, и так красиво стало вокруг, так красиво, что дух перехватило у идущих, и остановились они сразу, каждый про себя решив, что вот они – Новые Палестины. И, видимо, было это правдой, потому что кто-то из беглых колхозников, а ныне – вольных крестьян, ткнул мотыжкой в землю и удивился, как мягка и податлива она, и черная, как воронье, и легкая, как гусиный пух. И от восхищения собственного этою землею тут же сел крестьянин на траву и стал землю шершавыми ладонями гладить, будто была она живой и способной понять человеческую ласку.

Архипка-Степан тем временем дал команду на холм подняться и там уже остановиться окончательно. Забрались люди на вершину холма – была эта вершина широкой и ровненькой – и осмотрелись вокруг. И снова перехватило у них дыхание от восхищения.

А солнце уже поднялось повыше. И птицы красиво кричали в его лучах, а некоторые – даже пели, и все это наполняло воздух такой благодатью, что даже дышать этим воздухом было сладко и приятно.

Когда восхищение прошло, стали люди о жизни думать, и тогда горбун-счетовод, бывший помощником Архипки-Степана, построил людей организованно и каждому дал указание, что и как делать. Помогал ему в этом бывший красноармеец, а ныне вольный боец Трофим. Так отправили они одних в лес за дровами, других – тоже в лес, но уже за строительным лесом, третьих – к речке, чтоб посмотреть, есть ли там рыба. А бабам поручили еды наварить, так, чтоб всем хватило. Тут же некоторые коров доить стали, а другие своих коров отпустили на зеленые склоны холма попасись. Среди этих коров ходили и паслись себе две стройные лошади, обе коричневого масти, обе поджарые.

Так длился первый день, и к концу его многое изменилось на вершине холма. Выросли в штабеля уложенные сосновые стволы. По самой середине пылал костер, и пламя облизывало с шипением большой котел, в котором речная вода постепенно становилась земляничным отваром. Вокруг костра, кто ближе, кто дальше, сидело все население Новых Палестин. Сидело и по-всякому – кто в мыслях, кто вслух – радовалось. Ангел сидел рядом со светловолосой учительницей Катей, которая, сама наслаждаясь теплым счастливым вечером, рассказывала ангелу о том, что земля – круглая, а звезды организованы в созвездия и имеют собственные имена, рассказывала о том, что вот на таких же кострах испанские инквизиторы сжигали мыслящих людей, а во время Октябрьской революции у таких же костров мирно грелись постовые красноармейцы. И звучал ее милый ласковый голосок негромко и мелодично, и в общем-то неважно было ангелу, о чем она говорит, потому что слушал он не слова, а музыку ее голоса.

Архипка-Степан сидел поближе к костру рядом с горбуном и мужичком в грязном ватнике. Мужик все заговаривал о земельном наделе под свеклу, но горбун каждый раз перебивал его, говоря, что собственных наделов никто иметь не будет, так как жить они будут коммуной

и как одна семья, а значит все будет делаться не для одного, а для каждого. Архипка-Степан на это кивал. Когда наконец до мужика дошло, что отдельного надела он не получит, не очень он огорчился, а только сказал: «Так, может, тогда я бригадиром буду?»

– Хорошо, будешь! – кивнул на это горбун, и мужик, радостно улыбнувшись, замолчал.

Вечер показывал людям звезды, и люди смотрели на них, думая о своем.

Потом пили земляничный отвар. Кружек не хватало, и поэтому пили по очереди, но обиженных не было, и каждый спешил выпить, даже обжигая язык, лишь бы быстрее очередь дошла до тех, кто еще не пил.

К середине ночи все уже спали, также разлегшись у тухнувшего костра. И не было им холодно, потому что ночь дышала летним теплом. Несколько мужиков храпели, но никому это не мешало, ведь первый сон в Новых Палестинах был крепок и надежен.

А с рассветом новая жизнь продолжилась. Строители взялись за топоры и пилы, застучали молотки, и стали подниматься над холмом ровненькие длинные стены коровников. Первые коровники строились для людей, для новожителей этого места – ведь не умели строители пока строить дома. Но чем коровник не дом, если поставить внутри деревянные лавки, сложить печи из глины?! Чем не дом? И трудились строители самозабвенно, стахановским способом, без отдыха и сна, и проработали трое суток подряд, пока не закончили они четыре коровника, из которых три были для людей и один для домашнего скота.

Крестьяне тоже без дела не сидели. Стали они распахивать на двух красноармейских лошадях, а кто и вообще вручную, поле, примыкавшее к подножию холма рядом с кладбищем. А красноармейцы, заточив из орешника остроги, били в речке, что по другую сторону холма, рыбу. Били и сносили ее к костру, где куховарили несколько крестьянок. И три дня подряд ели все новожители, все палестиняне вкусную, наваристую уху.

Главный дезертир собирал грибы в лесу за речкой, собирал помногу и сразу же приносил на холм, где смастерил он из трех веток сооружение для сушки этих грибов, и тут же он, нанизав на веревочку, подвешивал их к этому сооружению. Архипка-Степан бродил по вершине холма и думал. Иногда, когда одолевала умственная усталость, ложился он на траву и дремал, и никто не тревожил его, потому как все знали, что если б не он – не вышли бы они сюда и не началась бы у них такая новая и радостная жизнь.

Ангел пытался помогать строителям, но быстро понял, что пользы им от него никакой. Попробовал он рыбу острой бит, но только вызвал смех у ловких бывших красноармейцев. К крестьянам он уже не пошел, предчувствуя, что и там засмеют его. Поэтому понемногу помогал он у костра, на котором готовилась общественная еда, носил дрова, воду и только тут ощутил на себе благодарственные взгляды, которые могли бы, однако, быть и просто любопытными, но все-таки добрыми и без всякой насмешки.

Горбун-счетовод добыл где-то толстую конторскую тетрадь и карандаш и ходил везде, переписывая имена жителей, их профессии и прочее, а когда уже всех переписал, а случилось это на второй день, стал ходить и проверять, как и кто работает, и докучал новожителям разными вопросами. Иногда подходил он за советом к учительнице Кате, которая, сидя на солнышке, читала свои умные книжки и думала над тем, как она будет учить всех. Подходил и спрашивал что-нибудь про природу или науку правильного счета и всегда был чрезвычайно рад всякому ответу, даже если ответ и не был полностью понятен ему.

На четвертый день строители стали сбивать лавки, а один крестьянин по имени Захар, матерый печник и копильщик, взялся сделать глиняные печи для человеческих коровников. С тремя мужиками пошел он к речке и показал им, где глину искать. И действительно – копали мужики раз-другой, и открылась им глина хорошая, синеватая. Стали они ее копать, другие мужики стали ее на холм носить, а Захар уж занялся лепкой печей, и дело это спорилось быстро. Решили на каждый человеческий коровник по три печки ставить. Нашлась у строителей и трубая жесь, накрутили из нее труб дымоходных и к вечеру затопили уже первую

печь, но не для согрева, а чтоб ее огнем изнутри закалить – все-таки глина – не кирпич. Но уже из-за этой первой задымившей печки уставшие палестиняне перед сном закатили праздник, и, сидя в коровнике, в полумраке беззаконного помещения, снова радовались они жизни, и кто-то передавал из рук в руки кружки с самогоном, но не каждый к ним прикладывался, а те, кто прикладывались, кряхтели потом громко и рыскали руками в поисках закуски. И даже если ничего не находили они, не огорчались, потому как общее состояние было чрезвычайно радостное, и каждый казался братом, а каждая – сестрой.

Ангел сидел рядом с Катей и смотрел на дрова, горевшие в глиняной печке. Сидел и молчал. Молчала и Катя, хотя сама она была не прочь поговорить, но не казался ей ангел хорошим собеседником, не был он разговорчивым, а кроме того на некоторые ее прямые вопросы вообще не отвечал, несмотря на то, что глаза имел умные. Конечно, поговорить с Катей нашлось бы здесь много охотников, тот же горбун-счетовод, но все они были люди как бы грубые, а от этого молчаливого ангела шло доброе человеческое тепло, которое словно и приковывало Катю к нему.

– Ну а ты где раньше жил? – спросила она его тихонько, пересилив свое последнее решение: «не заговаривать с ним первой».

– В Раю...

Катя закусила губу. Был ей неприятен этот ответ, так как входил он в противоречие с ее мыслями и убеждениями, но тут же поймала она себя на ощущении новом – показалось ей, что вполне может она уже спокойно относиться к таким ответам этого странного человека, называющего себя ангелом во время мирового атеизма. И совершенно неожиданно для себя она снова спросила его:

– Ну и как там жилось?

– Хорошо, – ответил ангел, любуясь огнем в печке.

– Ну а что там хорошего? – допытывалась Катя.

– Войны не бывает, все любят друг друга... много фруктов... воздух такой чистый, почти сладкий... круглый год тепло...

– А если там так хорошо, чего ж ты сюда приехал? А? – не без внезапного ехидства спросила светловолосая учительница.

Ангел пожал плечами. Помолчал пару минут.

– Из любопытства... – признался он. – Станным казалось, что из этой страны после смерти никто в рай не попадает.

– Как это не попадает?

– Выходит, что все – страшные грешники, – пояснил он.

– У нас?! Грешники?! – негромко возмутилась Катя, и тут же голос ее изменился, успокоился, и уже совсем по-другому, твердо она сказала: – А в рай они не попадают, потому что рая нет!

– А что, ад есть? – спросил ангел.

– И ада нет!

– А куда же они тогда после смерти?

– А в землю! Мы их закапываем, и они растворяются в земле, помогая в ней формироваться чернозему.

– Нет, – спокойно возразил ангел. – Это ты про тело говоришь, а я про другое – про душу. Душу же вы не закапываете!

– Нет, конечно, как ее закопать, если ее нет! – согласилась Катя.

Кто-то сунул ангелу в руку кружку. Ангел поднес ее к лицу, понюхал, и его передернуло от неприятности запаха. Взял, протянул эту кружку куда-то дальше в полумрак, и чья-то рука ее приняла.

– Ну а если души нет, то как же можно разговаривать, думать, любить?

Тут уж Катя задумалась.

– А разве для всего этого нужна душа? – спросила она через мгновение. – Ведь говорим мы ртом, а это часть тела. Думаем головой – это тоже часть тела и очень важная... а любим... для этого тоже часть тела есть у каждого... Зачем здесь душа?!

На это ангел не ответил.

Кто-то еще рядом разговаривал. Мужской голос и женский. Разговор у них был поживее, и касался он в основном мнений по поводу кастрирования молодых бычков с целью создания из них новой тягловой силы.

В эту ночь палестиняне спали уже на настоящих деревянных лавках, однако без тюфяков, без подстилок из сена или травы лежалось жестко, и многие тайком, уже ночью, когда и печка потухла, и храп всюду раздавался, сползали на земляной мягкий пол и уже там, поворочавшись, засыпали. Многим и так пришлось спать на полу, так как той ночью все сгрудилось в этом коровнике, другие же коровники были как бы необжиты из-за временного отсутствия глиняных печей.

Но вскоре Захар с помощью мужиков поставил и в других коровниках печи, и даже в том коровнике, что для скота был построен, и там две печки он соорудил, говоря, что скотина, она как человек, тепло и ласку любит и от отсутствия таковых легко погибает идохнет.

А работа на холме и вокруг него кипела беспрестанно. И не было ни одного, кто бы из-за лени или по другой причине этой работы избегал. Ну, может быть, один Архипка-Степан ходил-бродил и все думал, думал, но ведь и это работа, да еще потяжелее другой, так как большого напряжения головы требует и не каждый на такое напряжение способен.

Крестьяне уже что-то сеяли, а горбун-счетовод, выбрав себе помощника и соорудив из трех палок землемерное устройство, отмерял, сколько у них у всех земли имеется, чтобы разобраться с ее полезным использованием. На всякий случай обмерял он и кладбище и даже головой закивал – многовато под кладбищем земли оказалось.

Красноармейцы, решив, что пищу надо делать разной, захватив винтовки, пошли в закоренелый густой лес, начинавшийся за речкой, и на протяжении дня доносились оттуда выстрелы, но никого они не пугали, так как все знали, что выстрелы эти мирные и чем больше их прозвучит, тем сытнее ужин будет, а может, даже и завтрак! И потому радовались даже бабы-крестьянки пальбе, доносившейся из леса.

Ангел, помогавший бабам, не проявлял видимой радости в связи с ружейной стрельбой, а только думал о разном и, конечно, о людях, о палестинянах, с которыми сюда пришел для справедливой и счастливой жизни. И все вроде бы так и шло, и были палестиняне счастливы, да и сам он радовался, но многое в этой людской жизни его как бы смущало, хотя и объяснялось это многое легко – видно, поколение за поколением эти люди жили по таким законам и иначе не могли. Чтобы что-то съесть, надо было кого-то убить: рыбу ли, зайца ли, корову. Что в этом такого?! Ничего, кроме неприятной мысли. Но ведь на то они и люди, а не ангелы, чтобы жить просто и сурово. Ведь и жизнь у них куда сложнее, да и страшнее райской. И погода здесь другая, и законы другие, и камни с неба падают, и наверняка многих других опасностей хватает! Так что легко отвлекался в размышлениях своих ангел от неприятного и так же легко оправдывал в жизни людей все, что ему не нравилось.

Шел он себе вверх от речки, в руках два ведра, полные воды. Шел уже тридцатый какой-нибудь раз, и приятная усталость наваливалась на плечи, и руки от напряжения казались сильными, и как-то даже переставал он иногда чувствовать себя ангелом, и просыпалось в нем нечто чужое, но русское. Казалось ему в какие-то мгновения, что есть в нем огромная сила и с помощью этой силы он может в одиночку и речку запрудить, и холм разровнять, и много другого – и нужного, и бесполезного – сделать. И самое страшное из всего этого, возникавшего в нем, наверно, от усталости и от несвойственного для ангела труда, было желание понравиться учительнице Кате, которая, конечно, из всех женщин Новых Палестин отличалась не только внеш-

ностью своей, но и разумом во взгляде, плавностью движений и – самое поразительное – явным присутствием души, в существование которой она так рьяно не верила! Но был ангел уверен, что именно присутствие в ней души влечет его, а с душою вместе исходит от нее некое удивительное свечение, сравнимое только с невидимыми солнечными предлучами, но только есть в этом свечении слабенький багряный отблеск, который как бы и пугал ангела, и озадачивал его одновременно. Хотя чувствовал ангел, что отблеск этот не силен и, возможно, временен. А поэтому ждал он, ангел, каждой встречи с этой светловолосой девушкой, ждал, чтобы почувствовать на себе это свечение, чтобы согреться ее душою. Но перед каждой встречей, перед каждым поздним вечером, когда палестиняне заканчивали работы, приходилось трудиться и трудиться, не думая об усталости или даже о чем-то другом, более серьезном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.